
Дмитрий ТАРАСОВ

ОПЫТ БЕССМЕРТИЯ, ИЛИ ПОРУЧИК ТЕНГИНСКОГО ПЕХОТНОГО ПОЛКА

Повесть

ГЛАВА I. В УМЕ СВОЕМ Я СОЗДАЛ МИР ИНОЙ

Я настолько к нему привык, что порой не замечал, смотрел сквозь него, временами вообще забывал о том, что он существует. Однако правда и другое: он всегда обладал редкой способностью напоминать о себе: «Ты хочешь оставить меня здесь одного?»; «Разве ты не видишь, что я устал?»; «А как же твое обещание больше туда не ходить?»; «Почему я должен выслушивать твои глупости?». В мыслях — но никогда вслух, чтобы, не дай бог, не обидеть — я обычно отвечал: «Иди на фиг, Анатолий». Почему так?.. В детстве у меня был кот с таким именем: прилипчивый, наглый и в то же время трусливый, когда чувствовал за собой вину, — словом, имел повадки точь-в-точь как у него.

Каким бы вздорным, или хамовитым, или навязчивым он ни был, я не мог прервать с ним отношения. Даже не задумывался об этом. Причина простая: мы дополняли друг друга. Мне иногда казалось, будто происходит какой-то эксперимент или исследование, называйте как угодно, где мы с ним выступаем в роли подопытных кроликов. И возникал законный вопрос: кто тот ученый (или тут нужно писать с заглавной буквы?), который руководит группой коллег, изучающих человеческие существа под микроскопом?

Пока не станет известен окончательный результат опыта, я вынужден скрепя сердце терпеть и этих экспериментаторов, и Анатолия, не посылая его туда, куда он заслуживает. Пожалуй, здесь кроется единственный шанс на бессмертие (что бы это ни значило, для чего бы ни было нужно и как бы ни расходилось с канонами Церкви): если уходит один, другой остается, независимо от того, кто первым стоял в очереди. Недаром же русский поэт, а вместе с тем завзятый кавказский (и не только!) дуэлянт, подойдя к той развилке мысли, к которой подошел теперь я, поставил многоточие — как знак отмены смерти.

Дмитрий Михайлович Тарасов родился в 1965 году в Ленинграде. Работал инженером, экскурсоводом, журналистом, сейчас работает редактором в телекомпании «Петербургское телевидение». Публиковался в журналах «Нева», «Звезда», «Новая Юность», «Москва», «Сибирские огни», «Север», «Нижний Новгород», «Дон», «Крещатик», «Зинзивер», «Северная Аврора» и других. Рассказы переводились на сербский язык. Автор трех книг прозы. Член Союза писателей России с 2011 года.

Вернусь, однако, к моему, так сказать, напарнику — к Анатолию, как часто я про себя его называл... Трудно представить людей, столь непохожих во всем. Прежде всего в образе мысли. Что бы я ни предложил, какую бы идею ни высказал, он неизменно находился на противоположных позициях. Я уверен, он начинал о чем-либо судить лишь после того, как становилось известно мое мнение. А раньше он об этом и не помышлял! Теперь же был готов спорить до хрипоты, отстаивая «выстраданную» точку зрения.

Обыкновенно споры возникали на ровном месте. Стоило мне только сказать или даже подумать: «Пойдем направо», — как он тут же протестовал, настаивая на левой стороне. А скажем, безобидное предложение идти пешком вызывало у него мгновенное и резкое неприятие, мол, лучше на автобусе, на метро, на такси, да на чем угодно, лишь бы противоречить. Со временем мне пришло на ум, что надо говорить не то, что я хочу, и тогда, сам того не понимая, он станет поддерживать нужный мне вариант. Однако этот метод не сработал, потому что он моментально согласился с первым же такого рода предложением. И потом, когда я начал чередовать «правду» с «ложью», он с легкостью отличал одно от другого. Не ошибся ни разу. Понятия не имею, каким образом это у него получалось...

До некоторых пор наши споры касались всякой ерунды. И вдруг, неведомо, по какой причине, столкновения стали происходить в вопросах принципиальных. Впервые, как вспоминается мне сейчас, это произошло в театре. Не буду называть ни сцены, ни пьесы, ни ее автора, ибо все перечисленное не имеет ни малейшего отношения к делу. Скажу лишь, что спектакль, на мой взгляд, весьма талантливо показывал, какая гигантская пропасть порой отделяет поведение человека от его внутреннего мира. Едва я эту мысль сформулировал, как он, доселе молчавший, принялся обвинять меня во всех смертных грехах.

— Как это понимать? — опешил я, поскольку не подозревал, насколько широки его познания по части площадной брани.

— А так и понимай, что мне надоело слушать подобную чушь.

Далее — по его выражению, к гадалке ходить не надо — он попытался доказать мне, что стилистика жизни определяет стилистику мыслей в той же степени, как бытие определяет сознание. Словом, вылил на мою бедную голову целое ведро марксистско-ленинских воззрений, да еще в самом пошлейшем исполнении.

— Ты материалист? — только и поинтересовался я.

— В твоих устах это звучит как ругательство.

— Любые убеждения хороши, если они искренни, а не навеяны духом противоречия.

На этом разговор закончился. И вскоре мы вернулись к привычному: «налево-направо», «трамвай-автобус». А спустя месяца два, что ли, мы снова отправились в театр.

Спектакль назывался «Вы сказали — герой?» и был переделан для сцены из самого известного произведения Лермонтова весьма ловким образом... У меня вырвалось «ловким»?.. Да, в той мере, в какой современные режиссеры умеют исказить шедевр, чтобы он стал одновременно и скандален, и удобоварим для публики, и совершенно непохож на первоисточник и прославил режиссера как актуальнейшего из актуальнейших... Пусть его поглотит геенна огненная! Во всяком случае упоминать здесь имя этого шарлатана не намерен, а вот некоторые приемы, которые он использовал, упомянуть придется. От одного акта к другому, коих набралось аж четыре, было продемонстрировано все богатство нынешних сценических штампов: перенос действия из девятнадцатого века в наши дни; гендерная инверсия некоторых персонажей относительно того, кем они были в романе (попросту говоря, мальчики сделали девочки-

ми, и наоборот); гомосексуальные отношения, ограниченные, правда, лишь поцелуями; ненормативная лексика как способ общения русских дворян; пляски и акробатические этюды голышом; сексуальный акт без попытки хоть что-нибудь прикрыть; элементы садомазохизма, черной магии и языческих обрядов... Приятно завершить то, что было сделано исключительно по необходимости.

Каким бы бездарным ни был спектакль, я всегда, наверное по традиции, досиживал до финала. Только один раз ушел раньше — из-за жуткой мигрени. Досидел и теперь, хотя в какой-то момент едва сдержался, чтобы с шумным недовольством не выйти из зрительного зала.

Тот, который во всем мне перечил, был тут же, промолчав и весь спектакль, и три антракта, созданные, казалось бы, именно для того, чтобы обсуждать увиденное. Открыл рот он лишь тогда, когда мы вышли из здания театра.

— Видел бы ты сейчас свое лицо! — рассмеялся он. — Как могут ужиться вместе злорадия, недоумение и брезгливость?

— А ты, судя по всему, получил невероятное наслаждение, — недовольно пробурчал я.

— Более чем! Не будь оригинального авторского прочтения, этот архаичный текст заставил бы заснуть половину зала.

— Половину зала... — повторил я, сдерживая закипающий гнев. — Разве архаика, о которой ты говоришь, есть в пьесах Шекспира, Мольера, Островского, Чехова? Не надо делать из трех сестер лесбиянок, из Гамлета рок-музыканта, а ревизора превращать в блогера. Уймись, господа!.. А если вам это непонятно, то вы либо тупицы, либо мошенники.

Он, видно, принял мои слова не только на счет псевдорежиссеров, но и на свой счет тоже, потому что повернулся ко мне боком, похоже обидевшись, и оставшийся путь мы проделали в молчании. А дома, окунувшись с головой в компьютер и тут же забыв о капризах Анатолия, я сделал ревизию туристическим и гостиничным интернет-ресурсам. Закончил же тем, что открыл посвященный Лермонтову сайт и погрузился в чтение его биографии, начав с детских лет, которые прошли под присмотром любимой бабушки.

Через этот виртуальный портал я стремительным и в то же время самым естественным образом переместился в усадьбу Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, что в селе Тарханы Пензенской губернии.

* * *

Мальчиком (у него еще нет учителей) Миша рисует пейзажи, что видны в окно. Слабый от рождения, он в очередной раз болеет, и ему запрещено выходить на улицу. Так что же еще делать, как не рисовать?

На широком подоконнике лежат листы бумаги и коробка с акварельными красками, которые ему подарила бабушка. Одно изображение сменяет другое: примыкающий к барскому дому яблоневый сад; вдалеке на полях лошадки, пастух и стога; темная полоска леса у горизонта. Картинки разноцветные, в деталях отражающие натуру. И с той же точностью ему удается показать самого себя, только почему-то лишь в двух ипостасях: он либо резвится на природе, либо словно бы со стороны наблюдает за тем, что происходит вокруг.

Часто, а со временем все чаще и чаще возникает в его детских работах образ загадочной княжны. Почему, собственно, княжна?.. Да потому, что понизу соответствующую

щая подпись, пусть вкривь и вкось, зато без ошибок. Вопросы бабушки Елизаветы Алексеевны и прочих родственников он не то чтобы игнорирует, но отвечает столь путано, что поди разберись, какой стати княжна и какого рода. Тем не менее если прежде она была в углу или с кем-нибудь соседствовала, то теперь в фокусе внимания, ибо занимает господствующее положение в композиции.

Всякий раз, когда к бабушке приезжают гости, она хвастается перед ними рисунками маленького Миши. А гости расхваливают его наперебой:

- Какой, однако, одаренный ребенок!
- Подлинные ландшафты! И рисует он восхитительно!
- Его работы надобно сохранить. Ну, как он сделается знаменитым художником!

Мишу, впрочем, не обмануть. Хоть он и мал, ему понятны все эти взрослые, которым до него дела нет, лишь бы бабушке польстить. Миша уже давно не выходит к столу, как бы его ни звали. Ему приятно быть в одиночестве возле окна: хочешь — рисуй, хочешь — лепи фигурки из крашеного воска, а хочешь — просто в сад гляди. Иногда заходит бабушка. В отличие от остальных, у нее подлинный интерес, какого не сыграешь. И она все допытывается:

- Как так, что ты везде разный?
- Где же, бабушка?
- Да вот, и вот, и здесь тоже, — показывает она на рисунки, где изображен Миша.
- Может, и разный, да только как ни посмотри, а это я.

Со временем, поскольку хвори его не отпускают и надо себя чем-то занимать, Миша начинает сочинять стихи. Порой рисует и пишет разом. А если его от занятий отвлекают, то, обернувшись, он зачастую отвечает в рифму. И сам тому улыбается, ведь эти вирши выходят у него ненароком.

Улыбается Миша от души, правда, наблюдательному человеку заметны в его улыбке отнюдь не детские свойства. Какие именно и откуда они взялись, прояснится гораздо позже, когда он станет разговаривать с княжной. Да-да, той самой — бесплотной, созданной воображением для иного мира... Княжна скажет, что если ему вздумается говорить о ней дурно, то лучше пускай возьмет нож и ее зарежет.

- Разве я похож на убийцу? — спросит он.
- Вы хуже...
- Такова была моя участь с самого детства! — в его голосе соединятся боль и гордость.

И вот тогда, поймав ее недоуменный взгляд, он расскажет, что мальчиком был скромн, однако его обвиняли в лукавстве, — так он сделался скрытным. Он расскажет, что в его лице другие читали признаки дурного, которых не было, и как раз поэтому они появились. Он расскажет, что был угрюм, тогда как другие дети веселы и болтливы, что ему всегда ставили их в пример, и в нем родилась зависть. Он расскажет, что его никто не ласкал, наоборот, не упускали случая, чтобы оскорбить, и он стал злопамятен. Он расскажет, что чем больше в его словах было правды, тем меньше им верили, и ему ничего не оставалось, как начать обманывать. Он расскажет, что был готов любить весь мир, но миру этого не требовалось, и у него возникла привычка ненавидеть... С тех пор в его груди свило гнездо отчаяние — не то, которое лечат дулом пистолета, а холодное, прикрытое любезностью и приветливой улыбкой. Тогда он за ненадобностью отрезал и бросил одну половинку своей души, между тем как другая шевелилась и жила к услугам каждого. Но никому не приходило в голову, что он нравственный калека, только потому, что они не застали то время, когда его душа была неделима...

Он закончит на этом и встретится глазами с княжной. Она же будет жалеть его, и дрожать, и едва сдерживать слезы — но все молча!.. Да и как ей ответить, будучи лишь невоплощенной мечтой юного поэта?

ГЛАВА II. ЕЩЕ У НОГ КAVKAZA ТИШИНА

Есть в России прелюбопытнейшие места. Например, Пушкинские Горы. Когда туда едешь, то, конечно, заранее берешь в расчет, что без Пушкина никак нельзя обойтись. Но не в таком же количестве!

Или другое место, уже на юге страны — Пятигорск. Здесь кумир тот, кого прочли в наследники Александра Сергеевича. Чего только не узнаешь о бывшем гвардейце на улицах этого славного городка! Вот лишь некоторые успехи, которых добились местные креативщики: завод имени Лермонтова (интересно, что там можно производить?); оружейный магазин «Дуэль»; отель «Печорин и княжна» (она-то с какой стати?); магазин женского нижнего белья «Бэла»; букмекерская «Фаталист»; автозаправка «Казбич» (у владельца, очевидно, среди предков имелись абреки); туристическая фирма «Максим Максимыч» (тут, быть может, совпадение имен/отчеств фирмача и персонажа); парикмахерская, уважительно названная «Михаил Юрьевич»; или, наоборот, фамильярное «У Юрьича», горящее ядовито-зелеными буквами возле входа в пивную. Я уж не говорю о том, что вывеску «Герой нашего времени», над каким бы заведением она ни красовалась, можно встретить едва ли не на каждом втором фасаде в центре города. А сколько изображений литератора на сувенирах, книгах, конфетных коробках и далее до бесконечности! Создается впечатление, будто жителей Пятигорска ничего, кроме творчества Лермонтова, не интересует.

— Миша, не носись как угорелый, — кричит мама ребенку, и у меня нет сомнений, что отчество у него «Юрьевич».

В трамвае девушка вынимает из сумки книгу, и я наперед знаю, что это окажется томик стихов поэта.

Еще издали замечаю экскурсовода, стоящего перед группой туристов, и, проходя мимо, слышу: «Лермонтов, Лермонтов, Лермонтов...»

Неужели, думаю я, за прошедшее время, а это почти двести лет, не нашлось здесь никого, кто хотя бы отчасти мог составить конкуренцию автору «Героя...»? Или такая сила инерции? Или людям непременно нужен только один, единственный и неповторимый? Так проще, удобнее. Говоря современным языком, система одного окошка. И в конце концов, не это ли стало причиной победы монотеизма над всеми разновидностями многобожия?..

Совсем забыл, а сказать нужно, пусть и с опозданием: мы тут вдвоем и по-прежнему препираемся, независимо от того, важен ли предмет спора. Например, как я ни отпирался, ему все-таки удалось затащить меня на местное торжище. А где больше всего витрин с дорогим товаром? Правильно, на центральном бульваре. Что ж, наблюдения за магазинами и прочими парикмахерскими в известной мере пополнили мою копилку впечатлений.

Долгое время бульвар, по существу, был единственной в Пятигорске улицей в полном смысле этого слова (кстати, улицей безымянной). Затем бульвар назывался Царским, пока в честь трехсотлетия правящей династии его не переименовали в Романовский, и еще раз, уже в советские времена, он изменил имя, став проспектом Кирова и сохранив вывеску до наших дней.

Не смог удержаться от экскурсии в историю, настолько выпирает противоречие: с одной стороны, в городе повсюду обозначены места, куда Лермонтов, согласно ми-

фам и легендам, хотя бы раз да заглядывал, с другой — имеем проспект Кирова вместо бульвара, с которым, между прочим, кавказская жизнь поэта связана самым непосредственным образом. Парадокс — наиболее мягкое слово, какое можно подобрать.

В эпоху Лермонтова бульвар утопал в зелени. Понятное дело, прежних лип давно нет, как нет и никаких других: в середине прошлого века их вырубili, взамен посадив каштаны. Никто не спорит, красивые деревья, и плоды у них красивые — темно-бурого цвета с благородным отливом, — но уж больно тяжелые. Мы на себе испытали исходившую от них угрозу, когда они с гулким звуком падали на тротуар, скамейки, на крыши торговых павильонов и автомобилей и норовили упасть на голову, отчего то и дело приходилось увертываться.

— Приехали в конце сентября, — ворчал он, — в самый каштанопад.

— Ты прекрасно знаешь, что отпуск мне не перенести.

— Погода дрянь, — продолжал он в том же тоне и неожиданно повысил голос: — Скажи, для чего нужен юг, когда тут холодно, ветер, дожди?

— Не позагорать и не покупаться, — с иронией посочувствовал я такому горю, а он тяжело вздохнул:

— Пропал отдых...

— Хочу напомнить, что мы не отдыхать сюда приехали.

— А зачем же? — мгновенно отреагировал он.

— Литература, история, Пятигорск, Лермонтов, — одним духом перечислил я. — Разве этого мало?

Внезапно и довольно мерзким голосом он запел что-то очень знакомое:

— Только-только-только-только этого мало...

Я промолчал, продолжая смотреть на дешевого паяца, который гримасничал и пытался вывести меня из равновесия. Сдержаться мне не удалось:

— Твои манеры, интонации, шуточки... Я иногда сомневаюсь, кого ты предпочитаешь.

— В смысле?

— Мужчин или женщин, — ответил я резко, а он прямо-таки задохнулся от возмущения:

— Как ты мог такое подумать!.. Меня даже бабником называют... Сам знаешь!.. Вообще, мое терпение...

— Вот и веди себя достойно, — отрезал я, закрывая тему.

До поры до времени он с самым мирным и даже слегка провинившимся выражением лица вышагивал по бульвару (не хочу и не буду называть его проспектом Кирова!). То, что его поведение не более чем банальная маскировка, стало ясно, когда он бросился наперерез пожилой женщине интеллигентного вида.

— Дамочка, где у вас хорошие книжные магазины? Подскажите хотя бы один, а то сложилось впечатление, будто горожане совсем не читают.

Его актерство было столь очевидным, что на ее месте я и разговаривать бы не стал. Она, однако, ответила весьма любезно: «Почему же один?» — и дальше перечислила несколько книжных, заодно объяснив, как лучше до них добраться.

— Что вас конкретно интересует? — решила она уточнить.

— А вы что, библиотекарь? — прокукарекал он, но я вовремя ткнул его в бок и вежливо пояснил:

— Ищу путеводитель по Пятигорску, желательнее всего наиболее полный.

— Тогда вам нужен магазин местного издательства. В-о-о-о-н большие красные буквы! — она показала в конец выстроившихся вдоль бульвара павильонов.

— Снег, — прочитал он с ехидной улыбкой. — В курортном городе такое название! — продолжал веселиться он, видно, позабыв, что совсем недалеко отсюда вы-

сятся заснеженные пики кавказских гор. Схватив его за шкирку и в то же время смущенно улыбаясь нашему «гиду», я увлек за собой этого историка, географа и краеведа в одном лице. Спустя десять минут мы сидели на скамейке возле магазина «Снег», окрашенные с головы до ног в багрово-красные тона полыхавшей напротив вывески.

Он скучал, как делает обыкновенно, когда не с кем поболтать. Впрочем, не берусь судить об этом наверняка, потому что, будучи поглощен путеводителем, не слышал ни звуков шумного бульвара, ни шлепков, с которыми, немного напоминая мелкие камни, падали там и сям каштаны.

Написано было увлекательно, не тем казенным языком, каким обычно грешат подобного рода издания. Даже в неизбежно сухие повествовательные фрагменты автор приносил звучание собственного мотива, и мне начинало казаться, что мы с ним одинаково смотрим на...

Вероятно, для того, чтобы я не отвлекался на посторонние мысли, слетевший с ветки каштан стукнул меня по затылку и тем самым вернул к чтению.

* * *

В общем очерке Пятигорск выглядел совсем как немецкий городок, опрятный, красивый, с регулярной застройкой, но еще не вымощенный и без тротуаров. С высоты птичьего полета он являл собой укрепление, расположенное в большой яме и огражденное отрогами горы Машук. В этой природой созданной крепости не только держали оборону от черкесов с кабардинцами. Сюда, к горячеводским ключам, что били у подножия горы, съезжались ради исцеления со всей России. Среди статских было немало и военных мундиров: пехотные армейцы, раненые или отпущенные на отдых после боев, составляли большинство. Стараясь избегать их общества, держались друг друга гвардейские офицеры, либо ищущие крестика, либо отправленные в армию за провинности. После петербургских и московских салонов им было, разумеется, скучно, и едва ли не единственное их развлечение состояло в волокитстве за дамами из разномастной курортной публики...

— Ах, Мишель, таких красавиц, как юная Верзилина, не найти и в Петербурге!

— И что ж?

— Мне хотелось бы вновь и вновь целовать ее всю жизнь.

— Как, Монго, и далее не продвигаться?

— Что бы ты обо мне ни подумал, я сейчас не перемену свою судьбу ни на какую другую.

— Не знаю, готов ли я взять твое счастье взамен моей скуки... Как бы потом не заскучать пуще прежнего!

Мишель был горазд на подобные фразы. Он произносил их с видом неунывающего мудреца, после чего собеседнику, кем бы он ни был, оставалось только глубококомысленно замолчать. То же сделал и Монго, начав с осмотра собственных ногтей и закончив наблюдением за прохожими. Вдруг его глаза, всегда чуть прикрытые и сонные, расширились и стали похожи на рыбы.

— Что ты увидел?

— Мишель, идет твой давний друг и нынешний соперник... Наш майор в своем репертуаре: самолюбив, горд и непреклонен. Свирепый человек! Или, как ты его нарек — Мартышка, что ли?

— Как смеешь ты, ничтожный раб, так называть самого Николая Соломоновича Мартынова? — преувеличенным голосом прогремел Мишель, а после предложил

в игривой манере: — Может, развлечемся умной беседой с человеком, достойным поклонения всей Европы?

— Опять ты станешь его задирать, он обижаться... Пускай себе гуляет!

— Раз уж ты столь щепетилен, ограничусь эпиграммой. Надеюсь, это не оскорбит ни твоих, ни его чувств.

Мишель привел свой внешний вид, главным образом лицо, в соответствие с тем, как должен выглядеть декламатор.

Он прав! Наш друг Мартыш не Соломон,
Но Соломонов сын,
Не мудр, как царь Шалима, но умен,
Умней, чем жидовин.
Тот храм воздвиг, и стал известен всем
Гаремом и судом,
А этот храм, и суд, и свой гарем
Несет в себе самом.

Выждав паузу, Монго начал аплодировать, как делают в первых рядах перед сценой — негромко и медленно. И для него было полной неожиданностью, что у товарища, неизменно уверенного в себе, чуть покраснели щеки, вдобавок, чтобы скрыть смущение, он надвинул фуражку на лоб.

Два гвардейца, Мишель и Монго, оба сосланные на Кавказ за участие в дуэли, шли вдоль улицы с одноэтажными строениями, намереваясь свернуть на главную, которая представляла собой обсаженный липами бульвар, лениво забирающийся по скату Машука. Единственно здесь во всем Пятигорске стояли каменные дома, гостиницы и торговые лавки с русским, местным и колониальным товаром. В продолжение всего курса лечения гуляли по бульвару больные, составляя живую и пеструю картину. Самые заметные в толпе, конечно, женщины: столичные модницы, толстые купчихи, чванные чиновницы, провинциальные барышни с диковатым и в то же время ищущим взглядом...

— Постой, — Мишель придержал за рукав товарища, устремившегося было на встречу шляпкам, юбкам и аромату духов. — Успеется, мой порывистый друг. Они ведь в этот час как раз к источнику идут, а там, сам знаешь, придется пить эту теплую воющую отраву, коли хотим за больных сойти.

— Объяснись, Мишель.

— Изволь. Мы с тобой офицеры на излечении. Стало быть, пьем воду, принимаем ванны. А уклонись от этого, так, не сомневайся, найдутся те, кто донесет, и комендант враз возьмет нас на карандаш. Нужна ли нам такая история?..

Когда они ехали сюда из Петербурга, то должны были сразу явиться в отряд, действовавший на левом фланге в Чечне. Мишель, однако, предложил отправиться в Пятигорск. Поскольку Монго был против, то бросили жребий, и монета, упав решеткой вверх, указала дорогу на воды. Там предстали перед комендантом, выложили на стол медицинские свидетельства, где знакомый лекарь военного госпиталя указывал на их болезни, и получили разрешение провести на водах целое лето.

— А напони, — сказал Монго теперь, когда они разместились на бульваре, выбрав скамью в тени, — напони, какими болезнями ты одержим.

Говорил он развеселым голосом, и Мишель отвечал ему в тон:

— Выявлены золотуха и цинготное худосочие, сопровождаемое припухлостью и болью десен... Тебе тоже есть чем похвастать, не правда ли?

— Мишель, убей бог, не помню!

— Хорошо, возьму на себя роль эскулапа. Не забывай, легкомысленный больной, что у тебя изъязвление языка и ломота ног!

Вскочив, Монго прошелся вперед, припадая на одну ногу, и назад, припадая на другую.

— Ну полно, полно, — смеялся товарищ, а Монго, остановившись, спросил жалобным голосом:

— Как же мне поправить здоровье?

— Три сотни серных ванн. До десяти стаканов кисло-серной воды всякий день. С перерывом же курса его нужно начинать сызнова!

Вдоволь насмеявшись, они пересели на соседнюю скамью, куда переместилась и тень. Разговор, однако, по-прежнему шел вокруг болезней и коменданта Пятигорска.

— Этот Ильяшенков, даром что служака старой закваски, оставил-таки нас в городе.

— А помнишь, — Мишель снял фуражку и стал ею обмахиваться, точно веером, — помнишь, как он сказал: «Только, господа, не шалить и не бедокурить!» На что я резонно заметил, что ежели жить совсем без веселья, то можно умереть от скуки, и ему же придется нас хоронить, причем за свой счет.

После этих слов, пожалуй, потому, что прозвучало «хоронить», Монго вдруг сделался серьезен. Выждав с минуту, он сказал:

— Послушай, я родственник тебе, двоюродный дядя, хоть и младше на два года. Но главное, я преданный друг, в чем ты не раз имел случай убедиться. Посему дурного желать никак не могу... Будь осторожен, Мишель, иначе история с дуэлью повторится уже близ Машука...

Дуэль с сыном французского посланника де Барантом была за Черной речкой под Петербургом. Сперва дрались на рапирах, и Мишель получил легкую рану руки. Затем взялись за пистолеты: француз дал промах, тогда как Мишель выстрелил на воздух. Тем дело и кончилось, если не считать ссылки на Кавказ, куда, будучи секундантом, был отправлен и Монго.

— Здесь нет ни одного француза, — Мишель раскинул руки в стороны. — С кем же прикажешь драться?

— Я решительно против твоего желания обернуть мои слова в шутку.

Чтобы показать свою непреклонность, он стукнул ладонью по скамье, отчего его товарищ начал хохотать от души:

— Этак ты все тут в щепки разнесешь! По принуждению меня к благоразумности тебе соперник лишь моя бабушка.

— Сравнение лестное...

— Чем же бабушка плоха?.. Впрочем, я знаю, ты не обидчив, за что всегда тебя ценил...

Пораженный чем-то, он замолчал, а когда открыл рот, то начал говорить словно бы в горячке:

— Постой, что это? Гляди, Монго, гляди! Никак княжна?

— Княжна?.. Насколько знаю, ни одной княжны сейчас на водах нет. Ты, верно, обознался...

Еще немного времени Мишель сидел с напряженным лицом, а после, ссутулившись и сразу став как будто меньше ростом, с грустью проговорил:

— Моя обычная болезнь... Это у меня с детства. Еще бабушка рассказывала, что любил княжон рисовать, и всех на одно лицо, и всех инкогнито... Вырос, кажется, а все как ребенок! — весело закончил он, и Монго, встав и отряхнув мундир от невидимой пыли, с той же веселостью объявил:

— Однако ж пора проведать водяное общество!

На ходу офицеры решили, что пока публика наполняет стаканы целебной водой, им следует идти в ванны, в противном случае, как показывал опыт здешней жизни, придется занимать немалую и весьма болтливую очередь.

И вот они уже поднимаются к Александровскому источнику, куда ведет высеченная в скале лестница, а потом, по горло погрузившись в теплую воду, сидят в закрытой галерее и, отделенные друг от друга легкой перегородкой, громко перешучиваются, смеются, пока снаружи не раздастся дребезжащий звонок, а следом довольно грубый голос: «Пора выходить, ваша половина прошла!»

Позже они лежали в пристроенной к галерее комнате, где было еще несколько человек, и все потели, и чувствовался такой сильный запах серы, точно дьявол тоже заживал принимать здешние ванны.

Из Александровских вышли свежи и бодры, как будто собирались на бал. После этого кто скажет, что душа не зависит от тела!

ГЛАВА III. НЕ СМЕЙСЯ, ДРУГ, НАД ЖЕРТВОЮ СТРАСТЕЙ

Кому из нас пришла мысль пойти в кабак, объяснений не требует. Хотя моя вина здесь тоже есть: был безволен и легко дал себя уговорить. Однако по порядку...

Прежде чем пойти туда, где зловоние складывалось из запахов кислого пива, тухлой рыбы и несвежей человеческой плоти, мы по обоюдному согласию (редчайший случай для наших отношений!) направились в фирменный магазин Прасковейского винзавода.

— Дивное место! — оценил я, не услышав ни единого возражения с его стороны.

Мы стояли посреди большого помещения, светлого от широких окон, выходявших сразу на две улицы. Перед нами был деревянный прилавок, позади которого в шахматном порядке поднимались полки от пола до потолка, заставленные красивым бутылочным стеклом с нарядными этикетками. Преимущественно тут стояли коньяки да многочисленные вариации виски и самогона. Были и вина; они-то меня и заинтересовали в первую очередь. Люблю, знаете ли, эстетику винопития! Как там у Николая Заболоцкого:

В глуши бутылочного рая,
Где пальмы высохли давно,
Под электричеством играя,
В бокале плавало окно...

Справа от нас находился дегустационный зал, тоже с прилавком и изобилием разного рода напитков.

— Возьму на пробу, — обратился я к нему, а затем к продавщице: — Дайте, пожалуйста, бокал красного полусладкого.

— А мне, — развязно произнес он, — плесните-ка самогончику. — Он что, по заветам предков?

Продавщица ограничилась легким кивком и позже, о чем бы ни спрашивали мы или другие покупатели, умудрялась общаться исключительно при помощи языка жестов.

Мы сели возле окна (оно точно плавало и, как золото, блестело), сели друг напротив друга. Если я смаковал вино, то он залпом опрокинул стакан с витражным изображением скульптуры орла — символа Пятигорска.

— Здесь дегустируют, — напомнил я.

— Прикажешь пить самогон глоточками?

В ответ я пожал плечами, а он внезапно заявил:

— Пойду.

— Куда?

— Продолжу.

— Не вздумай, — я показал кулак. Он как-то весь сжался, думаю, по привычке к лицедейству, и начал говорить, что самогон ему очень приятен, что он хочет купить бутылку как местный сувенир. В общем, уговорил меня...

Когда, расплатившись, он стал с очевидным удовольствием поглаживать этикетку с видом бескрайнего хлебного поля, я вскользь заметил: «Ласкаешь, как ребенка», — и получил мгновенный ответ:

— Не отставай! Прибери винище — тоже как сувенир.

И хотя «винище» меня покорило, тем не менее, еще ощущая приятное послевкусие, прасковейское я купил.

Некоторое время, оба с фирменными винзаводскими пакетами, мы озирались по сторонам. Слева — Спасский кафедральный собор, куда не пойдешь навеселе, тем паче гремя бутылками. Напротив собора — сквер, огороженный с южной стороны массивной балюстрадой, с памятником Лермонтову в центре и скамейками по периметру. Решено было идти к Михаилу Юрьевичу, чтобы, как принято у приличных людей, представиться по всей форме.

К моему удивлению, он начал, не дожидаясь меня:

— А мне памятник нравится!

Очевидно, таким манером ему захотелось прощупать, каким будет мое впечатление, потому что стоило мне всего лишь одобрительно хмыкнуть, как он без паузы выпалил:

— Что это за фигура? Что за слезливо-печальный лик не то чиновника, не то сельского фельдшера?

Мои возражения, пусть и произнесенные раздраженным тоном, были вполне аргументированы: это первый в России и, по мнению многих, лучший памятник Лермонтову; композиция передает настроение поэта, погруженного в созерцание природы; а его несколько скованная поза как бы намекает на то, что ранняя смерть не позволила полностью раскрыться блестящему таланту.

— Ха! Так люди не говорят, так говорят искусствоведы, — он явно злорадствовал. — Какие огромные скулы! И нос пуговицей!

На этот раз я с силой ударил его в солнечное сплетение, отчего он сразу согнулся пополам. Едва придя в себя, он заявил:

— Ты меня избил, теперь лечи.

— По-моему, был анальгин, — я открыл молнию на сумке.

— Лекарства лучшего, чем самогон, еще не придумали, — произнес он с безапелляционной интонацией врача и авторитетным видом человека, чего только не испытывавшего на своем веку.

Мы сели на скамейку, выпили, и в какой-то момент рядом оказался господин в крапчатом пиджаке, из-под которого виднелся до крайности грязный ворот рубахи. Его лицо напоминало картофелину далеко не идеальной формы. Он предложил перекинуться в картишки. Я отрицательно помотал головой, после чего он вытащил из внутреннего кармана пиджака помятый пластиковый стакан и протянул мне.

После двойной дозы алкоголя «картофелина» сделал повторное предложение и даже начал мешать, причем довольно ловко, выдавшему виды колоду. Остановив

мельтешение его пальцев — длинных, узловатых, с грязью под ногтями, — я строго произнес:

— Не играю!.. Зато он, — я глянул на бронзовую фигуру поэта, — был заядлым картежником. Как, впрочем, все дворянское сословие, в особенности офицеры. Вы только представьте, глухой военный гарнизон, где из развлечений либо вино, — я плеснул «картофелине» в стакан, — либо карты. Скудный выбор, не правда ли?

* * *

Вечером играли в карты у майора С. Его дом стоял ближе к бульвару на той сбегавшей вниз улочке, по которой они обыкновенно спускались в город. Вход был со двора, куда офицеры попадали, пройдя мимо каретного сарая, хлебной лавки и мастерской, где сапожник-армянин починял господские сапоги.

Теперь сидели за столом уже часа два. Играли в бостон. То ли потому, что из-за стоявшей весь день духоты к вечеру хотелось спать, то ли ввиду дурной карты торговля шла вяло, временами без партнера, а иногда и вовсе без объявления игры. Наконец, наскучив картами и бросив колоду под стол, перешли к беседе, впрочем, и тут не имели успеха, пока Мишель не привлек к себе внимание.

— Позвольте, господа, — сказал он, обедая присутствовавших офицеров Тенгинского пехотного полка слегка насмешливым взглядом, — позвольте попробовать поменять общее выражение вашего лица на более веселое.

— Каким же образом?

— Самым обыкновенным, господа. Хочу рассказать историю, надеюсь, занимательную.

— Из вашей жизни?

— Я бы сказал, из здешней жизни, потому что действие происходит неподалеку от того места, где мы сейчас находимся.

После этих слов офицеры заметно оживились: кто-то закурил, кто-то рассмеялся, а Монго в приятном ожидании откинулся на спинку кресла и вытянул свои длинные ноги. На его лице застыла заранее приготовленная улыбка.

— Чему ты радуешься? — перед тем как начать, Мишель перевел взгляд на товарища.

— Это о Белинском?

— Другзя, Монго, как всегда, прав. Мало того, у него прекрасная память, если учесть, что эту историю он услышал от меня вчера вечером.

Ответом на его слова был смех, и только старый майор, хозяин дома, добродушный, но не слишком далекий вояка, произнес в усы:

— Ну полноте, вы же родственники...

— Никогда, господин майор, родственные связи не мешали моей объективности. Впрочем, я могу только повторить: Монго прав. Да, господа, — он постучал серебряным портсигаром по пепельнице, — в Пятигорске теперь критик Белинский. Уверен, вы слышали о нем.

На этот раз сделалось так тихо, что с улицы слышался далекий перестук копыт. А после донесся откуда-то гортанный крик черкеса, потом затих, и снова установилась кругом немая южная ночь.

— Ты, кажется, объявил, что хочешь нас развлечь, — напомнили Мишелю.

— Собственно, я уже подошел к этому... Итак, мой старый приятель еще по московскому пансиону Николай Сатин нынче лечится здесь. Он остановился прямо на бульваре, перед Цветником, и я часто заглядываю к нему поболтать после обеда. Был и на днях. Зашел, а там уже Белинский сидит. Оказывается, он тоже приехал

на лечение. Сатин, само собою, нас представил... Признаться, я его статьи прежде не читал, хотя, конечно, имя мне знакомое... Словом, разговорились, и выяснилось, что мы из одних и тех же мест, так что беседа стала оживленной. И вдруг он хватает со стола книгу кого-то из французских энциклопедистов и начинает пылко говорить о Вольтере. Представьте, только что обсуждали пензенские дела и ни с того ни с сего... Да с такой горячностью, будто я или Сатин ему возражаем, чего, разумеется, не было.

— И что же, этот Белинский так и не дал слова вставить? — спросил черноусый корнет, чья левая рука после ранения в схватке с горцами держалась на перевязи.

— Глебов, с чего ты взял?! Вы же меня знаете, господа!.. Я глядел на него с юмором и бил своими шутками наповал. Но он сам тому виною! Не знаю, право, кто бы на моем месте повел себя иначе, случись при нем такой поспешный и нелепый переход от пустого к серьезному.

— Так ты, Мишель, добил его, по обыкновению? — князь Васильчиков со своим неизменно пронизательным видом прищурился на рассказчика.

— Ничуть не бывало! Просто чем более он возбуждался, тем сильнее я хохотал... В заключение же говорю ему в шутку, что явись Вольтер теперь в нашу родную Пензу, так его ни в одном порядочном доме не взяли бы и в гувернеры. Тут Белинский, озадаченный совершенно, молча смотрит на меня, потом, взяв трость и еле заметно кивнув, выходит из комнаты.

Дождавшись, когда стихнут голоса и смех, Мишель с интригой в голосе сказал:

— Господа, это не финал!.. На другой день я вновь у Сатина, и он говорит, что я едва разминулся с Белинским. Оказывается, тот до сих пор не может забыть наш разговор, с моей стороны положительно шуточный. По словам Сатина, он называл меня не иначе как пошляком.

Мишель рассмеялся, на что корнет с простреленной рукой то ли спросил, то ли сказал утвердительно:

— Ты вызвал его на дуэль...

— Разумеется, нет. Пойми, Глебов, это статский, в той степени, какая только возможна. А второе... Он недоучившийся фанфарон, который, прочитав несколько страниц Вольтера, воображает, будто проглотил всю премудрость. Для чего же драться с таким человеком?

Далее разговор зашел о дамах, и офицеры старались изобразить себя отменными сердцедами, чьи любовные подвиги должны вызывать зависть у всякого мужчины. Наконец, когда все истории были рассказаны и все честолюбия удовлетворены, майор С. обратился к Мишелю:

— Поручик, что же вы молчите?

— Мне приятнее слушать, нежели говорить, — Мишель, не вставая из-за стола, поклонился.

— Но наверняка вам есть что вспомнить из петербургской жизни. Утверждают, будто ваши похождения там просто легендарны.

— Легендарны?.. Мне смешно, когда так говорят... Впрочем, если желаете... После возвращения с Кавказа я стал очень популярен в свете, особенно среди тех, кто вечно толпится в дамских салонах. Мне, однако, высшее общество было в высшей же степени безразлично, кое-кто откровенно неприятен, и я терпел их исключительно ради женского щебетанья. Зачастую у меня было по три, по четыре аристократки одновременно. Я и в бордель перестал ходить, потому что уж незачем.

Он вдруг смолк, точно его речь, доселе подобная быстрому горному потоку, уперлась в каменную преграду. Продолжил он уже холодным тоном:

— От света можно оторваться, а от женщин — другое дело. Так что я рад случаю, который, в лице этого ничтожного французика, направил меня на Кавказскую линию.

Майор С., чья тяжелая челюсть, кажется, отвисла сильнее обычного, долго не издавал ни звука, прежде чем неожиданно резко для своих немолодых лет поднялся и произнес в пространство комнаты:

— Господа, благодарю всех за игру.

Затем, поменяв суровое выражение лица на благосклонное и вернув челюсть в прежнее состояние, он обратился к Мишелю:

— В ваши годы я тоже не видел другого смысла, как только быть донжуаном, и потому отлично знаю, чем победить эту напасть. Считайте, поручик, вам повезло служить под моим началом. При первой же возможности позабочусь, чтобы вас определили на передовые позиции. Не сомневаюсь, под черкесскими пулями вы быстро развеете свой сплин.

ГЛАВА IV. БЫТЬ МОЖЕТ, ТЫ ПИСАЛ С ПРИРОДЫ?

У хозяина отеля, в котором мы остановились, наверняка своеобразный вкус, потому что он отверг все расхожие в здешних местах названия: «Печорин», «Герой нашего времени», «Княжна Мери»... В результате над входом в наше жилище была вывеска «Лацио», и та же надпись бежала сверху вниз по световому табло вдоль круглой башенки, которая выростала посредине черепичной крыши гостиницы. Не исключаю, кому-то подобные игры могут быть интересны, — но при чем тут Лацио? Какое отношение к Пятигорску имеет область в Центральной Италии?

На эти вопросы никто так и не ответил, если не считать ответом десятки висевших на лестницах и в коридорах фотографий и эстампов с видами итальянских городов. Внутри гостиничного номера влияние Апеннинского полуострова тоже чувствовалось: на светильниках, сантехнике, на мебели — словом сказать, везде — имелось клеймо «Made in Italy».

При внешнем лоске обстановки ее качество было так себе. К барахлившему с первых дней смесителю добавилось бра, которое то включалось через раз, то не включалось вовсе. Последнее произошло и в то недоброе утро, когда я проснулся после вчерашнего визита в винный магазин. Не найдя тапки, я босиком добрался до выключателя, зажег пятирожковую люстру и зажмурился от ее невыносимо яркого света.

Изгоняя вялость и головную боль, я долго стоял под холодным душем, а когда вернулся в комнату, то увидел его сидящим с расческой перед зеркалом.

— Ну, намного лучше, — оценил он мое отражение, завернутое в белый халат с вышитым в овале контуром Колизея и понизу надписью «Lazio». По правде сказать, его мнение меня не интересовало, в отличие от упаковки анальгина в верхнем ящике прикроватной тумбочки.

— Графин с водой на столике, — позаботился он о моем здоровье.

— Лучше бы вчера следил, — огрызнулся я беззлобно.

— Как же, уследишь за тобой!.. Вот простейший вопрос: где мы заканчивали?

Сообразив, почему я так долго молчу, он поведал историю о кабаке — пыльном и воющем притоне бездельников и пьяниц с висящими от пива животами и одутловатыми лицами. Каждого из персонажей он описывал настолько подробно, что мне пришлось его поторопить. В ответ он всплился, выкрикнув:

— Вообще, ты помнишь, что вытворял?

На мое скованное стыдом «нет» он с нескрываемым упоением стал рассказывать, как я пил самогон с каким-то местным алкашом, как громогласно читал Лермонтова,

чьих стихи поддерживала выкриками подвыпившая публика, как полез на постамент памятника, откуда позорно свалился.

— Поэтому и головой страдаешь, — словно бы врач, поставил он диагноз.

— Выходит, кабак был в конце... — произнес я неуверенно, поскольку некоторые пункты нашей «культурной программы» вылетели из моей памяти напрочь.

— Ага, все мозги пропил!

Тут я не сдержался и перешел в наступление, понимая, что против этого лицемера и демагога по-другому нельзя:

— Значит так, сейчас собираемся и идем в музей Лермонтова!

— А почему не в музей шоколада или восковых фигур?

С его ерничаньем можно было бороться единственным способом — гнуть свою линию, — и тогда ему ничего не оставалось, как плестись за мной следом.

— В городе множество музейчиков, но только два крупных — музей Лермонтова и краеведческий музей. Последний как формат мне никогда не был интересен. Бивни мамонта, ржавые наконечники копий, рваные бусы, горшки с отколотыми ручками...

— Ты когда-нибудь закончишь? — спросил он так, словно сам звук моего голоса был ему противен.

— Другое дело — Государственный музей-заповедник Лермонтова, — я нарочно произнес полное название, чтобы, зная его любовь ко всякого рода сокращениям вроде «Лермонтовки», сбить этот развязный тон.

— Уверен, большой разницы нет, — все-таки пробурчал он, и мы продолжили подниматься к подножию Машука.

Музей занимал целый квартал. Пока его обходили, пошел мелкий дождь. Купив билеты, мы расположились под навесом в ожидании либо экскурсовода, либо ясной погоды. Вместе с нами было с дюжину человек, готовых поверить в бессмертие поэта.

Экскурсия началась с зала, где нас стали просвещать касательно той роли, которую сыграл Михаил Юрьевич в истории русской культуры. Говоря проще, здесь имелись книги, изданные в разных странах и в разные эпохи, афиши и фотографии спектаклей, поставленных по произведениям Лермонтова, хроника научных конференций и юбилейных торжеств. Хвалебные высказывания о поэте его великих коллег по цеху были написаны крупными и на редкость красивыми буквами, помещены в свитые из лавровых листьев рамки и развешаны в произвольном порядке по всему пространству зала. Ничего живого я в этом не обнаружил, зато пафоса было хоть отбавляй.

— Свалить бы отсюда, — склонившись к моему уху, шепнул он с явно провокационным безразличием. Проверяет, тут же подумалось мне, а после мелькнула озорная мысль: раз он сам начал, то надо поддержать.

Было забавно наблюдать исподтишка, как он плетется сбоку и не знает, что же предпринять в неожиданных обстоятельствах. А я, стараясь этого не показывать, праздновал победу. Во-первых, оставил его в дураках. А во-вторых, меня на самом деле не привлекал осмотр этого зала, подобного хрестоматии для начальных классов.

Мы остановились перед стендом с планом музея. Само собою, мне больше всего хотелось попасть в дом, где жил Лермонтов, а еще — в усадьбу Верзилина, куда вели многие нити событий, происходивших в Пятигорске во время пребывания поэта. Я, однако, молчал. Соображения были простые: если он один раз ошибся, высказавшись первым, значит, ошибка может запросто повториться. Так оно и случилось.

— Лермонтов в изобразительном искусстве, — выхватил он из списка экспозиций, перечисленных на плане. — По-моему, самое достойное из того, что есть в музее!

Это был призыв. Отступить, при всем желании, у него теперь не получится. Что ж, подумал я, мне только на руку его сегодняшняя горячность.

Экспозиция представлялась скучнейшей, наподобие той, где висели таблички с хвалебными высказываниями. Мы переходили из одной комнаты в другую, от больших стендов к маленьким. Смотрели, приглядывались... Иллюстрации к произведениям Лермонтова, портреты поэта и его современников, виды Кавказа, жанровые сцены, эпизоды сражений...

Когда мы вошли в последний зал, откуда слышались приглушенные голоса и звуки, то увидели, что все пространство заполнено скульптурными работами, между которыми стоят мольберты, а юноши и девушки лет двадцати с усердием переносят на листы ватмана высеченного из камня Михаила Юрьевича.

Тихонько, чтобы не мешать, я обошел сзади всех художников и возле одного из них, работавшего углем, остановился. В отличие от других, он рисовал не просто поэта, а поэта, который переносит на холст прекрасный кавказский пейзаж. Меня словно привязали к этому месту, потому что на моих глазах рождалось живое, упругое, исполненное смысла...

* * *

Он снова сидит у окна и снова рисует. Краски, кисти, широкие листы бумаги... Но нет, перед ним вовсе не яблоневый сад в пензенском имении бабушки, а причудливо изогнутый ствол черешни. Да и рисунок не похож на те, что из детства: при заходящем солнце на фоне снеговых гор едут двое конных черкесов.

С ленивой медлительностью жаркого дня кружит под потолком муха. Ветка черешни тянется в открытое окно. Изредка, когда налетает порыв теплого ветра, мелкая дрожь пробегает по листе. Шевелятся на длинных и каких-то беззащитных стебельках, показывая себя с разных сторон, точно девушки на выданье, темно-пурпурные ягоды. Кажется, нарочно дразнят, приманивают к себе взгляд. Но чтобы их сорвать, нужно отложить краски, встать из-за стола, иначе просто не дотянешься. И он неспешно встает...

— Мишель, вот ты где, оказывается! — восклицает вошедший в этот момент офицер.

— Монго, у тебя есть редкое свойство, — замечает он, отправляя в рот сорванную черешню, и после внимательно оглядывает фигуру офицера. Тот при полной форме: темно-зеленый двубортный сюртук с вызолоченными пуговицами, с красной выпушкой поверху, стоячим воротником и круглыми обшлагами.

— К чему такой парад? Только эполет не хватает...

— Да хоть бы и парад, что с того?

— По мне, так в зной лучше всего льняная рубаха...

Они живут на окраине Пятигорска. Выше начинается лес, который забирается на вершину Машука. А внизу — такое впечатление, будто прямо под окнами лежит небольшой чистенький город. Дом, который они снимают у отставного майора, словно бы нарочно рассчитан на двоих. У каждого своя спальня и свой кабинет. Обе половины выходят в общую комнату, где они собираются по вечерам и куда приходят другие офицеры. Сложен дом из бревен и с внешней стороны обмазан глиной. Такие же мазанки, в стиле южнорусских строений, здесь повсюду, и если смотреть в сторону бульвара, то взгляду тесно от белых стен и камышовых крыш.

— Твое свойство, — возвращается он к начатому разговору, — каким-то чудесным образом связано с моим настроением... Как ты знаешь, я очень дорожу теми минутами, когда меня посещает вдохновение. Посещает, увы, нечасто... И вот едва это происходит, — он повышает голос, — как появляешься ты. Заметь, всегда!

И хотя он добавляет в конце «мой друг» и даже вполне миролюбиво отправляет в рот очередную ягоду, это никак не может смягчить его рассерженную интонацию. В ответ, озадаченный и виноватый, Монго лепечет:

— Ты же знаешь, Мишель, с каким трепетом... Ни за что я бы не посмел...

— Полно, полно... А для чего же ты заходил?

— Собственно, дело простое... В здешнем Благородном собрании, а попросту в ресторации, дают бал.

— К какому же числу готовиться, дядя? — иногда, по-родственному, он так обращается к пятигорскому сожителю.

— Так нынче и дают. Я потому к тебе, собственно...

Жестом он останавливает Монго:

— Не усердствуй, я все равно не пойду... Впрочем, какая бы цель у тебя ни была, желаю успеха.

Когда дверь за Монго закрывается, он снова берет в руки кисть. Аккуратными мазками пишет горцев: у обоих за плечами ружья в чехлах, один на белой лошади в длинном башлыке, другой на гнедой — в черкеске и папахе. Капризное вдохновение, однако, улетучилось: то ли само по себе, то ли из-за вмешательства Монго. Черт дернул его с этим визитом!

В конце концов, убрав работу на верхнюю полку шкафа, где меньше пыли, Мишель выходит на воздух. Собрав полную фуражку спелых ягод, он располагается на скамье под черешней. Сад ничем не напоминает бабушкин в имении, но почему-то именно здесь на него чаще всего накатывают детские воспоминания. Сегодня, правда, вместо них перед глазами по-прежнему стоит картина скачущих на закат горцев. О чем они беседуют? Что говорит молодой пожилому? Может, готовят ночной налет на русский лагерь или просто обсуждают завтрашнюю охоту? Один Аллах разберет этих азиатов!

Пока он сидит, исчезают и всадники, и породившие их впечатления, и волнистая линия гор вдали. Он смотрит вниз на Пятигорск, точно на очередную черешневую косточку, только очень большую. Ее надо положить в ладонь, где уже скопились десятки других, превратившись в липкий комочек.

Сквозь вечеряющий воздух дома видно плохо, скорее, это размытые очертания, и только здание ресторации, самое высокое в городе, построенное в классическом духе петербургской архитектуры, вполне различимо. С той стороны доносятся оживленные голоса, шум подъезжающих экипажей, полковая и танцевальная музыка. Искушают, думает он и, доев черешню, захлопывает ладонь заодно с поместившимся туда городком, что лежит в долине у горячих вод.

ГЛАВА V. О, ПОЛНО ИЗВИНЯТЬ РАЗВРАТ!

За несколько следующих дней я исходил Пятигорск вдоль и поперек, побывал в культовых, так называемых лермонтовских местах. Прошагал тропами Льва Толстого, Валерия Брюсова и еще многих других, кто прославил Кавказ и русскую литературу.

Надо сказать, я ходонок, то есть при всякой возможности стараюсь передвигаться пешком. Будучи полной моей противоположностью, он с юных лет постоянно ныл, что нужно ехать/плыть/лететь в зависимости от расстояния, которое предстоит осилить. Тем не менее в Пятигорске мне удалось его приструнить. Мы поднимались в горы, спускались в ущелья, балансировали на веревочном мосту над пропастью, пересекали вброд бурную речку.

Я сжалился над ним, вконец уставшим, когда он самым искренним голосом, на какой способен, попросил о пощаде.

— Так и быть, — сказал я. — А ты подумал, чем нам заняться? Или мы проделали такой огромный путь, чтобы смотреть телевизор в номере? Сидеть на диване можно было и дома.

Тут требуется небольшое пояснение. Из окна нашей гостиницы, несмотря на ее гордое имя, видны отнюдь не античные римские постройки и не заливные луга в долинах благодатной области Лацио. Видна, скажу честно, всякая, по преимуществу пятиэтажная дрянь, которая откликается на народное прозвище «хрущевка». Дело в том, что мы остановились на окраине города — точно так же, как Лермонтов, даром что в его время окраина была там, где сейчас центр.

Поэтому можно понять мое удивление после того, как он заявил:

— При чем тут номер, диван и телевизор? Будем изучать округу.

Вероятно, мы вкладывали в слово «округа» разный смысл, или его зрение обладало каким-то особым фокусом... Выяснилось, однако, что оба предположения очень далеки от действительности. Он имел в виду наш отель и те радости досуга, которые здесь предлагались жильцам. С семи вечера в их распоряжении находился бар, а часом позже открывалась дверь, ведущая из бара в соседнее помещение, где, собственно, и была святая святых. Подвыпившие, кто больше, кто меньше, могли выбирать между бильярдом, кальянной и боулингом. Да, имелся еще небольшой танцпол, правда, танцевать там было затруднительно из-за гудения голосов, стука валившихся друг на друга кеглей и бильярдных шаров, которые разлетались с сухим треском.

— Как они двигаются? — спросил я, показав на танцующую пару. — Ведь ничего же не слышно.

— Музыка звучит у них внутри, — довольный своей фразой, он потянул в себя дым и откинулся на спинку мягкого кожаного кресла. Деревянным мундштуком кальяна он начал стучать по краю стола в понятном лишь ему одному ритме.

— Может, хватит уже?

— А ты не замечаешь, что я нервничаю?

— Из-за чего?

— Ты неправильно куришь, — заявил он вместо ответа. — Чтобы был лучший эффект, делаешь несколько коротких затяжек подряд, — он продемонстрировал образец для подражания.

— С каких пор ты сделался кальянных дел мастером?

На его лице застыла глуповатая и одновременно блаженная улыбка наркомана, каковым, к слову сказать, он не был, просто любил корчить из себя то одного отъявленного негодяя, то другого. Словом, артист из погорелого театра...

Я не заметил, когда он поднялся, однако поскольку ему неизбежно пришлось проходить мимо меня, успел выставить ногу поперек пути.

— Ты куда?

— Сколько он может ее лапать?!

— Ах, вот оно что... — теперь я глядел туда же, куда и он — на танцующих. — Насколько помню, ты всегда с пренебрежением относился к исполнительскому искусству, называл его сплошным кривляньем.

— Мало ли что! — продолжал истерить он. — Вот смотри, они закончили! Значит, сейчас моя очередь!

Музыка действительно смолкла, но ненадолго, и вскоре они (оба высокие, он блондин с отсутствующим и вместе высокомерным выражением лица, она с короткой стрижкой каштановых волос и влажным взглядом) вновь и очень умело заскользили по паркету. Вопрос, казалось бы, решил сам собой. Стоило, однако, мне так подумать, как он встал, сообщив, что ему нужно в туалет, и настолько долго там пропадал, что я на-

чал беспокоиться. Наконец, окинув взглядом помещение, я обнаружил его стоявшим у столика, за которым пила белое вино эта танцорка. Ее партнера поблизости не было.

Догадываюсь, конечно, о чем они разговаривали. С другой стороны, понятия не имею, чем бы это закончилось, не раздайся от бильярдного стола громкий окрик:

— Эй, любитель чужих жен, отошел от нее на десять метров!

Кричал, разумеется, танцор. Вид у него был теперь вовсе не отрешенный, скорее грозный, но смотрел он по-прежнему с превосходством. Я бросился к нему, желая предотвратить назревавший конфликт. И в этот момент, одним резким движением схватив бильярдный шар, он обрушил его на мою голову, успев предварительно проорать несколько слов. Я его не расслышал. Окружавшее меня сперва рвануло галопом, затем замедлилось, встало на месте, только вверх тормашками, а после куда-то исчезло.

* * *

Мишель быстро пересек танцевальную залу, куда публика только-только начинала подходить, и скрылся за дверью, поверх которой была надпись «Бильярдная». Там никого не оказалось, если не считать скупающего без дела маркера. Он стоял возле окна, опершись на кий.

— Прохлаждаешься, братец?

— Ваше благородие, так никого ж нет, — у маркера под усами соломенного цвета появилась хитроватая малороссийская улыбка.

— А я на что? Или не гожусь, по-твоему? — с этими слова Мишель взял кий, ловко подбросил его в руке и натер наконечник мелом.

— Во что изволите? — спросил маркер.

— Ставь пирамиду.

После того как жребий показал очередность ударов, Мишель разбил позицию и, отойдя в сторону, начал следить за действиями соперника...

Когда корнет Глебов открыл дверь в бильярдную, то находившийся к нему вполборота маркер, стоя на одной ноге и положив другую на борт стола, изготовился к удару. В глубине помещения корнет различил стоявшую на фоне яркого света коренастую фигуру офицера в форме Тенгинского пехотного полка. И вдруг фигура произнесла громким в тишине голосом:

— Здравствуй, Глебов!

— Здравствуй, Лермонтов.

То ли из озорства, то ли потому, что хотели выглядеть старше, они обращались друг к другу исключительно официальным образом. Со стороны казалось, будто ни имен, ни отчеств у них нет, одни только фамилии да звания.

— Отчего, Лермонтов, ты здесь, а не в танцевальной зале?

— Ты же знаешь, я не охотник водить хороводы.

— Охотник, однако, до женского общества.

— Танцы и дамы, корнет, суть явления одного порядка, но все ж таки разные... Как бы то ни было, это вопрос философический, оставим его мыслителям. Нам же более пристало думать о предметах, достойных внимания офицеров.

Глебов со смешком произнес:

— Вино, карты, женщины... Что же еще, поручик?

— Разумеется, бильярд, — Мишель повернулся к столу, возле которого маркер ожидал, когда офицеры закончат беседу.

— Ваше благородие, удар за вами.

— Карамболом от шестерки одиннадцатым номером тройка прямо в середину, — скороговоркой назначил Мишель и, прицелившись, загнал шар в лузу, после чего, как будто перед строем солдат, скомандовал: — Семьдесят одно очко. Моя партия.

Подмигнув на прощание вновь заскучавшему малороссу, Мишель вышел из бильярдной вместе с Глебовым.

— А что, корнет, скоро ли мы с тобой скатаем?

— Как только заживет, — он слегка поднял забинтованную руку, — буду готов принять твой вызов. А пока...

Развернувшись на каблуках, он внезапно направился к ближайшему окну, отдернул тюль, надутый воздухом из открытой форточки, и взял с подоконника букет роз. Их было никак не меньше двух десятков — красных, лиловых, желтых. Возможно, привлеченный крепким и жарким ароматом, который тотчас распространился кругом, откуда-то сбоку появился Монго и еще издали радостно закричал:

— Так вот ты где, поручик!

— Это, верно, твое любимое выражение, — Мишель смерил его недовольным взглядом.

Монго остановился, растерянный холодностью товарища, и не нашел ничего лучшего, как произнести:

— И ты, корнет, здесь... Этакий у тебя букет выдающийся...

— Вынужден, господа, вас оставить, — коротко кивнув и прижав цветы к сердцу, Глебов легким шагом направился к невысокой даме с плавными манерами. Глядя на нее, похожую на южанку с бронзовым цветом лица и черными очами, Мишель медленно проговорил:

— Прекрасная смуглянка.

Определение это так ему понравилось и настолько было верным, что он сейчас же позабыл и обиду на Монго, встрявшего в беседу, и свой настрой перед балом, когда казалось, будто нет ничего скучнее танцев. Теперь расположение его духа сделалось самым наилучшим. Вместе с Монго и князем Васильчиковым он спрятался за толпой мужчин, которые, как изволил выразиться князь, вытянулись во фронт вдоль стены и высматривали стоявших напротив дам. Мишель тоже высматривал, но лишь затем, чтобы с неизменной находчивостью высмеять то или иное женское создание. Независимо от возраста и положения в обществе все они делились преимущественно на «бледных красавиц» и «лягушек в обмороке». В таком общем анализе были, однако, и свои градации, посему каждая получала только ей предназначенное прозвище.

Монго смеялся:

— Если ты окрестишь кого-то по-своему, так уж прежнее христианское имя само собою отпадает.

Между тем игра в прозвища настолько разбудила в Мишеле юмор, что он никак не мог остановиться. И делался только язвительнее с каждым разом, когда мимо проносились платья, звенели шпоры и поднимались фалды.

Наконец, увидев зашедших в залу дочерей генерала Верзилина — трех граций, как называли их на водах, — он воскликнул:

— Взгляни только на этих граций, Монго! Как они жеманны — мухи дохнут!

— Младшая, Надежда, обещала начать со мной мазурку.

— Так не теряй надежды, mon ami! А я, пожалуй, выберу старшую, Эмилию — она, на мой вкус, наименее скучна.

Спустя минуту офицеры уже вели сестер в танце и всячески, как к тому обязывает мазурка, показывали себя в образе блистательных кавалеристов. Если Мишель ограничился лишь идеальной выправкой и пружинистым шагом, то товарищ пошел зна-

чительно дальше: удар каблуком об пол означал «дать жеребцу шпоры», взмах руки — натянуть поводья, а легкая хромота служила напоминанием о ранах, полученных в конных атаках.

ГЛАВА VI. В ТЕСНИНЕ КАВКАЗА Я ЗНАЮ СКАЛУ

Жить с подбитым глазом, который превратился в узкую щелку, плохо везде, но в особенности на курорте. Ходишь либо нахлобучив шапку, что явно не по погоде, либо голову опустив, что неудобно само по себе. К тому же сильно болит там, куда ударили.

Позже я догадался использовать повязку. Первое время, когда бинтовал вокруг глаза, Анатолий не вспоминал о своих набивших оскомину, ехидных шуточках — наоборот, потому, что он-то и был причиной моего увечья. Наглость, однако, всегда была в нем верх. Кем он только в дальнейшем меня не называл! И Кутузовым, и Моше Даяном, и адмиралом Нельсоном. Эрудированный, сукин сын! На мои возражения, что эти люди, повстречайся они по воле случая, вряд ли бы разошлись миром, он лишь смеялся.

- Ну ты и сволочь, — не выдержал я.
- Почему? — он искренне удивился.
- Ведь я тебе, дураку, помогал.
- Тебя, между прочим, никто не просил.

Тут я разозлился:

— А тебя просили напиться, курить кальян, приставать к этой девице? Тебя просили?!

В конце концов я додумался, какое можно дать толкование огромному синяку на лице человека, который приехал на курорт. Версия была следующая: я выбрал Пятигорск, чтобы посредством здешних вод вылечить опухший глаз; мол, это у меня с детства, есть такая болезнь, вот только забыл, как она называется. Понятное дело, никто не задавал подобных вопросов, да и объяснение было, мягко говоря, так себе, — просто мне самому, вооруженному чем-то вроде медицинской справки для собственного потребления, стало гораздо проще находиться среди отдыхающих. С особой легкостью я перемещался возле бюветов. Каждый, кто приходил туда пить минералку, по определению что-то лечил. Так чего смущаться? Разница только в том, что их болезни скрыты, а моя на виду. Уверенности добавлял, как это ни странно, Михаил Юрьевич Лермонтов, у которого в «Герое...» наибольшее скопление инвалидов и раненых как раз около Елизаветинской галереи. Короче говоря, повязку я перестал надевать.

Вообще, источников в городе десятки. Но расположены они в основном на отшибе, куда ходить совсем не хотелось. Зато Центральная питьевая галерея, которая недаром так называлась, ибо построили ее прямо в Цветнике (или на бульваре, или, кому как нравится, на проспекте Кирова), стала моим излюбленным местом, даже несмотря на уродливую наружность типичной советской постройки в виде безликого серого прямоугольника. На втором этаже, где всегда скапливалось много народу, пили сероводородные и углекислые воды, а еще воды эссентукского типа (так гласила надпись сбоку от массивного крана, к которому временами выстраивались очереди). Этажом ниже была только одна разновидность минералки — из скважины номер семнадцать; ее-то, чуть кислую, я предпочел всем остальным.

Подходя к источнику, я изредка ловил на себе сочувствующие взгляды, дескать, надо же, попал в какую-то переделку. Но это даже ободряло, ведь убедить себя в при-

думанной версии не так уж и сложно. Жалели всегда женщины, но никто со словами поддержки не подходил. И вдруг...

— Кто же вас так?.. О, Господи, какие звери!

Рядом со мной стояла девушка чуть выше среднего роста, худенькая, что подчеркивали узкие джинсы и ремешок на талии, с круглым свежим лицом, где сияли большие глаза — умные и в то же время с искоркой. Собственно, именно такие меня и привлекали раньше. А как теперь, даже не знаю... В любом случае мне хотелось развеяться, пофлиртовать, избавиться хотя бы на время от... Ладно, назовем его докучливым напарником.

Историю о врожденной болезни, попытках лечить ее разными средствами и надежде на исцеляющее действие горячих вод я поведал с такой убежденностью, какую можно ожидать лишь от артиста, глубоко вошедшего в образ. Ответом был ее дружелюбный смех. Она, правда, тут же извинилась, объяснив, что работает врачом в больнице и привыкла выслушивать от пациентов самые невероятные истории.

— Иногда настолько правдоподобно придумывают, что диву даешься!.. А в вашем случае... Знаете, отличить болезнь — которой, признайтесь, нет! — от обширной гематомы обязана обычная медсестра.

Я признался, взамен попросив сказать, как ее зовут.

— Таня, вы первая, кто высказал мне сострадание.

— Это профессиональное, — смущение и улыбка соединились на ее лице. — Лучше расскажите, как в действительности было дело. Наверно, девушку защищали?

— Скорее, наоборот.

Она посмотрела на меня с удивлением, а я продолжил:

— Стал разнимать драку между парнем девушки и этим... — я поискал глазами ловеласа, как самым невинным образом собирался его представить, но он словно бы надел на себя шапку-невидимку.

— О ком вы? — задала она естественный вопрос.

— Куда-то отошел... Только что был здесь... Обычно всегда рядом крутится.

— Рядом? — в ее голосе послышалась ирония. — Это кто же такой? Кем он вам приходится?

Как принято говорить, для ясности я этот вопрос замаял, перейдя на самую любимую тему отдыхающих — о здоровье и пользе минералки. Также признался в своем предпочтении источника номер семнадцать — то ли из-за мягкой на вкус воды, то ли потому, что не чувствуется запах серы.

— Может, как врач вы объясните, в чем дело, — я хотел сказать комплимент, а вышло, будто проверяю ее квалификацию. Она, однако, не обратила на это внимания:

— Запаха и не должно быть, потому что тут углекислая вода. Ее рекомендуют при гастритах, панкреатитах, заболеваниях печени, желчевыводящих путей, эндокринных желез...

— Хватит, — взмолился я, уж слишком явным было чувство, будто передо мной доктор, который, собрав из моих болезней большой и, как ему кажется, красивый букет, хочет торжественно вручить его родственникам умирающего, то есть моим родственникам.

— Вы не любите людей в белых халатах?

— Если бы я обладал даже половиной из того, что вы перечислили, с вами сейчас разговаривал бы кто-то другой... Кстати, — вырвалось у меня, хотя это было совершенно не кстати, — а вас что занесло в эти курортные места?

После паузы, в продолжение которой был допит стакан воды и наполнен следующий, она в какой-то задумчивости произнесла:

— Странное дело, когда люди узнают, что я врач, то разговор сразу уходит в сторону прогрессивных методов лечения... Но если вам интересно, то я в Пятигорске просто на отдыхе, живу у подруги, вместе с которой училась в институте. А воду пью из спортивного интереса, чтобы не отставать от обитателей санаториев.

— Значит, далеко не все медики говорят правду.

— Вам никак не сойти с проторенной дорожки, — вздохнула она. — Может, о чем-нибудь другом? Например, как вам Северный Кавказ?

Ее подсказка попала в самое яблочко! Что я хорошо знал и чем всегда интересовался, был как раз этот южный край, где исконная Россия садится на бойких кавказских коней и надевает одежды горцев. Переходя от черкесов к кабардинцам, от вершин к долинам, от эссенуков к нарзанам, наконец, от Пушкина к Лермонтову, я настолько увлекся, что обратился к Тане на «ты», выпил подряд три стакана минералки и то ли под ее воздействием, то ли от лихачества прокричал: «Ужель та самая Татьяна?» От дальнейшего чтения романа в стихах уберегло лишь то, что начался дождь, и мы, раскрыв зонтики, побежали к трамвайной остановке...

На другое утро мы снова встретились возле Центральной галереи. Теперь погода была отличная, мягко пригревало солнце, и дул медлительный теплый ветер. Мы шли по улице, которая брала начало сразу за галереей и упиралась в стоянку автобусов. Переведя взгляд от игравшей у нас под ногами светотени на поросший лесом Машук, который впервые за последние дни скинул с себя завесу тумана, Таня каким-то очень серьезным голосом спросила:

— Ты здесь один, без жены?

— Не совсем, — ответил я, подыскивая слова, чтобы объяснить ситуацию с моим двойником, который опять куда-то запропастился, но тут ее громко позвали от автобуса. Она уезжала на экскурсию в Кисловодск и вечером должна была возвратиться.

— Давай ходим к Лермонтовскому гроту! — крикнула она уже из открытого окна автобуса.

— Когда?

— Автобус вернется сюда в семь часов!

— Хорошо, я встречу тебя на остановке!

* * *

Нет места укромнее, чем этот грот. Он расположен в скале, да так неприметно, что дорогу туда знает далеко не каждый. С севера грот защищает гора Машук, и здесь всегда тихо, лишь изредка шумят верхушки дубов и ясеней, когда прилетает снизу ветер — от реки Подкумок, что, разбиваясь на рукава, бежит вдоль окраины Пятигорска.

Он спустился сюда с белокаменного отрога, на краю которого стоит павильон «Эолова арфа» и снуют любители, а большей частью любительницы пейзажных видов и пустых бесед. В их обществе ему стало скучно, и он отправился бродить один, даже не заметив, как лесная тропинка, которая с каждым шагом все круче устремлялась вниз, вывела его на ровную площадку с высаженной вдоль нее виноградской аллеей. В дальнем конце аллеи виднелся тенистый грот...

Что за славный вид открывается отсюда! Если искать что-то лучшее, то все равно не найдешь! Тут-то, думается ему, и можно уединиться. Но как бы не так: едва приближается он к гроту, как слышит, что там кто-то есть, а следом из полумрака появляется... Бог мой, княжна! Между ними за все эти годы было сказано так много, что теперь, когда они впервые встречаются тет-а-тет, говорить, кажется, уже не о чем. Слова, однако, находятся, и довольно быстро.

— О, вы тут!.. Так неожиданно...

Она выглядит растерянной, тогда как он холоден, со своим неизменным мрачным взглядом, с язвительной улыбкой.

— Княжна, когда вы взяли за привычку гулять в одиночестве? Что скажет на это ваша матушка?

— Ах, матушке сейчас не до меня!.. Она готовится к завтрашнему концерту в ресторации.

— А вы, стало быть, туда не идете?

— Зачем же мне идти, когда вы сказали, что вас там не будет?

— Из ваших слов следует, будто теперь мы с вами ходим только в одни и те же места. Или я не прав?

— С вами тяжело вести беседу.

— Отчего так, разрешите узнать?

— Вы подменяете одну тему другой.

— Какая же предпочтительнее для вас?

— О нас с вами...

— Позвольте, последнее время мы только это и обсуждаем.

— Что толку, когда вы так жестоки со мной.

— Княжна, я устал от этих разговоров... А что касается жестокости, то сколько же мне повторять, что я не создан для семейных радостей. Мало того, что вы будете несчастны, ибо я любить не способен, только увлекаться, так я еще превращу ваше существование в кошмар, мстя за то, что вы непременно начнете требовать от меня чувств, которых я дать не могу.

Не перебивая, она слушает, как он описывает трагическую жизнь женщины, рискнувшей выйти за него замуж. Когда его монолог заканчивается, она поспешно говорит:

— Зачем вы об этом рассказываете? Мне все равно, каким станете вы, мне важно лишь то, чтобы быть с вами рядом. Ради этого я готова сносить косые взгляды и сплетни, даже от близких людей... Я не могу жить одна! Не могу без вас!

Последние слова она произносит с чувством, прижав руки к груди и глядя на него блестящими глазами. Он старается смотреть в сторону, крутит в руке сорванную с дерева ветку, когда, с очевидностью преодолевая себя, начинает медленно говорить:

— Княжна, я не люблю вас. Говорю прямо, чтобы не давать вам ложной надежды. Я и теперь бы промолчал, но ваш порыв вынудил объясниться так откровенно... Не правда ли, что если вы меня прежде и любили, то с этой минуты презираете?..

Слушая, она стоит, отвернув лицо, и вдруг резко поворачивается, бледная, с влажными глазами и текущей по щеке слезой:

— Я вас ненавижу... О, оставьте меня!..

Он пожимает плечами и собирается уйти, но она, приподняв обеими руками подол юбки, опережает его и бросается вниз по ступеням. Лестница ведет от грота к Елизаветинскому источнику с устроенной возле него крытой галереей. Он наблюдает, как, спустившись, она растворяется в толпе гуляющих и пьющих воду. С высоты, где он находится, хорошо виден бульвар, который заканчивается полукругом площадки со стоящими там и сям беседками, и видна сразу за галереей общая ванна, то есть выложенный камнем бассейн, и в отдалении, на берегу Подкумка, кабардинская слобода, населенная по преимуществу отставными солдатами.

Среди пестроты одежд и лиц он ищет княжну и, не найдя, уединяется в гроте. Здесь, в прохладе и тишине, он спрашивает себя, какая роль ему уготована, и признается, что это роль топора, который падает на головы обреченных — часто без злобы, всегда без сожаления... Его любовь (хотя какая любовь? возможно ли, чтобы у орудия каз-

ни была такая способность?) никого не сделала счастливым, потому что он не умеет приносить жертв, да и его увлечения ублажали исключительно гордыню. Из раза в раз он потворствовал странной потребности сердца: с жадностью забирать у женщин их чувства, нежность, их радости и страдания. И никогда не насыщаться тем, что украл! Это хуже, чем быть вором! Тот берет чужое обдуманно, там, где это наверное, и столько, сколько по силам. Ему же всегда мало и тем интереснее, чем больше риска, чем неприступнее крепость. При этом и приз-то его не манит, вернее, наскучивает, как только оказывается в руках... Так неужели его единственное назначение — разрушать надежды других? И почему драматург этой непостижимой пьесы вводит его в финал, словно без него никто не может ни отчаяться, ни сойти с ума, ни умереть?.. А может, все иначе, и судьба тут ни при чем... Что мешает помыслить так: необходимые для последнего акта свойства выработались в нем не потому, что его туда по какой-то случайности поместили, а напротив, эти-то свойства и стали причиной, почему ему дали роль палача, или предателя, или того и другого вместе... Мало ли людей, которые, по молодости заблуждаясь в своих способностях, метили в спасители Отечества, между тем как целый век оставались в коллежских ассессорах? Это, впрочем, Гоголь какой-то. Хотя пусть и Гоголь, зато верно. А коли так, тогда той роли, какой он удостоился на этих жизненных подмостках, и не жалко вовсе. Только вот досада, выносить приговор самому себе не в его праве... Да и все тот же интерес подогревает: каких персонажей наберет автор в новый спектакль, кого из них надо помиловать, кого казнить, когда, каким методом...

Продолжая сочинять текст, начатый в полумраке грота, он идет по лестнице. На его лице — печать задумчивости и тихая радость от того, что сцена с княжной, похоже, удастся. Сожалеет он лишь о том, что нельзя тотчас перенести мысли на бумагу. Будь у него волшебный чернильный прибор, который всегда носишь с собой, тогда можно было бы писать в любом месте, где только пожелаешь!

Около Елизаветинского источника его сразу окружают сотни смеющихся и кричащих, худых и толстых, офицеров и статских. И хотя по-прежнему он думает о своем, ненароком тут и там слышит шепотки: «Лермонтов... Где?.. Неужто тот самый?..»

И вот он уже бежит — от блеска, шума и грохота — сначала вдоль залитой солнцем галереи, а затем по бульвару в тени хорошо разросшихся лип. В голове в такт бегу бьется целый сонм перепутанных мыслей: ничего не забыть... княжна была сегодня в ударе... записать слово в слово... никогда не скажешь, что это просто видение... не перепутать и ни в чем не соврать...

Воображение зримо рисует рабочий стол с пресс-папье и ножом для разрезания бумаги, с пером и чернильницей. Ах, как хочется сейчас там оказаться! И от одной этой мысли он начинает бежать еще быстрее.

ГЛАВА VII. ИЗМУЧЕННЫЙ ТОСКОЮ И НЕДУГОМ

Дело шло к вечеру, а темнеет на юге настолько стремительно, что пока идешь от гостиницы до ближайшей трамвайной остановки, вечер тут как тут: светит уличными фонарями, разливается рекламой вывесок, обжигает фарами машин.

Когда я втиснулся в гармошку задней двери, густая чернота лежала повсюду, изредка озаряясь иллюминацией площадей. В отличие от скрытого внешнего пространства, в трамвае горел мягкий желтоватый свет, над сидячими местами мерно раскачивались головы пассажиров, и так тихонько и по-домашнему постукивали колеса на стыках, как может постукивать лишь в любимых мною поездах.

К слову сказать, пятигорский трамвай — один из старейших в России. Его регулярное движение началось в сентябре 1903 года, почти на пять лет опередив появление трамвайных путей в столичном Санкт-Петербурге. Кроме того, стандартная колея во всей Российской империи составляла примерно полтора метра, в то время как в Пятигорске на полметра меньше.

Эта история местного трамвая вспомнилась мне не случайно. Из-за узкой колеи и вдобавок пересеченной местности пассажиров порой бросало в разные стороны. Положение усугубляла провинциальная неспешность жителей, особенно заметная, как мне казалось, у водителей транспорта. Я то и дело подсвечивал часы на мобильнике, понимая, что могу не успеть к Центральной галерее в назначенный час. Но самое неприятное состояло в том, что, держась со мной за один поручень, тряся в трамвае мой сосед по гостинице и не давал мне ни секунды покоя.

— Боишься опоздать? — спрашивал он с язвительностью, заставляя меня снова смотреть на часы. После очередного вопроса я сказал ему то, что, наверно, в силу хорошего воспитания до сих пор не произносил, но очень часто именно так и думал:

— Иди на фиг, Анатолий.

Было заметно, что он постепенно восстанавливает в памяти образ Анатолия из нашего общего детства, и поскольку серый в полоску кот оставил по себе лишь дурные воспоминания, его лицо на время сморщилось в кислую гримасу. Не знаю, какие чувства в нем бурлили, но на время что-то заставило его замолчать. Однако когда мы встали на углу бульвара с улицей, названной в честь некоего местного большевика, он не сдержался:

— Теперь точно опоздаешь.

— Тебе-то какая радость?

— Не мне, а ей, — он отвернулся в сторону окна, будто разговор перестал его занимать, и только когда я сказал: «Объяснись», вновь посмотрел на меня:

— Да проще простого: у тебя жена, и хоть с год вы живете по отдельности, тем не менее ты не разводишься.

— Обязательно разведемся, — заверил я, — как только вернусь отсюда.

— То-то и оно, что ничего не изменится, — наглым тоном сказал он и, поймав мой насмешливый взгляд, продолжил: — Наобещаешь этой крале с три короба, а после взглянешь на происходившее как на курортный роман, который остался далеко позади. Дома же все вернется на круги своя: жена, пусть и в отдалении, дочь, с которой всегда можно видиться, привычная работа, друзья, хобби...

Он во многом был прав. За исключением того, что я действительно собирался подавать на развод. Ведь мы давно, извиняюсь за банальность, стали чужими людьми...

— Ты судишь по себе, — сказал я и схватился обеими руками за поручень, потому что трамвай затормозил у самого светофора. Стояли мы минут десять, похоже, впереди была авария. Едва тронулись, как на него напал приступ красноречия:

— На тебя мне наплевать — ты существо прожженное. Максимум, что тебе грозит, так это легкое повреждение панциря. А вот что ты сделаешь с этой Таней, даже представить сложно. Хотя почему бы не представить... Ты ее соблазнишь, дашь надежду, увлечешь за собой. Что ж, вполне понимаю... У вас будет прекрасное время! Но надолго ли? Сомнительно... Как всякая другая, она тебе скоро надоеет, и ты будешь тяготиться ею до тех пор, пока не найдешь повод от нее избавиться... Ты слишком привык быть один — без разницы, кто рядом с тобой: жена, эта Таня или какая-нибудь другая, еще неведомая избранница. Все равно ты всегда сам по себе и такое положение ни на что не поменяешь.

— Иди на фиг, Анатолий, — бросил я в его сторону и, поскольку трамвай замер на очередной остановке, выпрыгнул на тротуар. После того как у меня дважды получилось назвать его тем именем, какое ему и пристало носить, я почувствовал огромное облегчение. Обычно говорят: гора с плеч!.. Отныне он будет мерзким котом, недостойным человеческого облика.

Я почти бежал по бульвару, уворачиваясь от прохожих, от падавших каштанов, мимо чебуречных и кафе, мимо ювелирных лавок и магазинов одежды. А он остался в трамвае, где были еще десятки людей, и все они желали ехать дальше, но так и не двинулись с места.

У Цветника, откуда два шага до источника, я был без десяти семь. Автобусы делали кольцо позади питьевой галереи, и я расположился рядом с их парковкой. От находившегося неподалеку бювета с сероводородной водой дурной запах распространялся на добрую сотню метров. Впрочем, терпеть пришлось недолго: ловко развернувшись на небольшом пяточке, замер на остановке нахального и дорогого вида автобус, откуда начали появляться заспанные пассажиры и вынимать багаж из туго набитого машинного брюха, а около них сразу возникли пронырливые местные таксисты; вскоре подъехал еще один туристический труженик, меньшего размера, весь в дорожной пыли, без расписанных броской рекламой бортов.

Таня вышла из задней двери: ни чемодана, ни пакетов, лишь маленькая дамская сумочка. Она постояла у столба, где висело расписание рейсов. Затем стала расхаживать туда-сюда вдоль шеренги скамеек, в конце концов усевшись на одну из них и продолжая поглядывать по сторонам.

Наблюдая за ее перемещениями издали — под прикрытием пышного куста акации, я поначалу просто откладывал удовольствие от грядущей встречи. Водится за мной такая привычка: не сразу, а с постепенностью, подкрадываясь, что ли... Но как-то незаметно в меня проникли слова, услышанные по дороге от моего всегдашнего преследователя: соблазнишь... сомнительно... надоест... избавишься... привык быть один... А спустя минуту-другую появился и он сам: по-видимому, неспешной походкой как раз успел дойти от трамвайного кольца. С ходу он спросил:

— Ты еще не развелся?

Поскольку я молчал, он решил самостоятельно распределить роли рассказчика и слушателя.

— Я понимаю, за такое короткое время, даже имея связи в гражданском суде... — ему всегда очень нравилось глумиться над любым, кто подворачивался на его пути. — Но знаешь, честность самоотчета еще никто не отменял. Если ты с этим согласен, то согласишься и с другим: тебе хочется длить теперешнее время до бесконечности. Так удобней, практичнее, ничего не надо менять. До бесконечности, — повторил он каким-то зловещим голосом, на секунду надулся и неожиданно захохотал, так что пришлось его заткнуть, хорошенько двинув по ребрам.

Таня по-прежнему сидела на скамейке, только теперь с каким-то потерянным лицом. Без отрыва я продолжал на нее смотреть, пока она не поднялась и не побрела в сторону бульвара, почему-то едва заметно прихрамывая.

* * *

Он выходит со двора на улицу, откуда только что въехала груженная телега. Глядя, как легким пухом осыпается с телеги высушенная трава, он не замечает, что створка ворот, закрываясь, с силой бьет его по колену. От внезапной боли он садится на ка-

мень, к которому мужики, входящие в подчинение Монго, обычно привязывают лошадей. Потирая ушибленное место и слегка морщась, он идет к Цветнику, когда, лихо осилив поворот, его обгоняют дрожки. В них сидит, откинувшись на сиденье, молодая дама. И хотя лицо ее в кружевной тени от солнечного зонтика, у него нет сомнений — это княжна. Он даже пытается догнать экипаж. Но куда там с больной ногой!

Проходя мимо дома генерала Верзилина, он наблюдает, как сидящая возле окна Эмилия, то есть старшая грация, вертит в руках то ли зеркальце, то ли книжку, то ли рисунок. Издалека не разобрать, да и желания разбирать нет никакого. Однако, отмечает он про себя, все ж таки любопытно...

Он идет медленно, так что его опережает насквозь больной однокашник Николай Сатин.

— Гляжу, ты иль не ты...

— Аз есмь, — он смиренно склоняет голову.

— Отчего же хромаешь?

— Кавказ, война, горцы, — отшучивается он.

— Ай-ай-ай... А я хотел пригласить тебя в гости, ко мне как раз должен Виссарион Григорьевич пожаловать.

— Вот уж не «как раз», — резко бросает он и, кивнув на прощание, заходит в лавку, лишь бы отстать от прилипчивого Сатина.

В лавке местный товар: черные и белые папахи, бурки, подобные шалашам, какие обыкновенно ставят в горах, разной длины и степени кровожадности кинжалы, сабли с рукоятями, усыпанными камнями, черкески, бешметы, кожаные пояса. Всю эту экзотику ходит и рассматривает Белинский. Вот уж неожиданность!

Подойдя к петербургской знаменитости сзади, он с тонкой улыбкой замечает:

— Каждый, кто на Кавказе впервые, создает себе по несколько азиатских туалетов, — и, немедленно удаляясь, добавляет, пока словоохотливый критик не пришел в себя: — Оказывается, вы тоже не избежали здешней дикой моды.

От одной этой язвительной шутки ему становится легче на душе. Утешение, правда, длится недолго: из бокового переулка прямо на него, так что свернуть не успеешь, движется крупная фигура майора Мартынова. Делать нечего, они здороваются.

— Как-то странно ты приволакиваешь ногу.

Оттого что за короткое время он слышит эту фразу уже второй раз, в нем поднимается глухое раздражение. А еще у него возникает неприятное предчувствие: нервный, с ноющей болью, он сейчас не способен взять обычную веселую манеру, и, стало быть, куда менее сообразительный, но все-таки не лишенный юмора Мартышка получает известное преимущество. Этого допустить никак нельзя!

Как только Мишель замечает на лице майора ту самодовольную усмешку, которая всегда предшествует его казарменным шуточкам, он решает, пусть это и будет блеф, зайти с козырей:

— Видел в окне старшую грацию с портретом какого-то военного. Чудны дела твои, Господи!

Вмиг сделавшись серьезен, Мартынов пристает с расспросами, тогда как Мишель, окутав себя завесой тайны, уходит. На самом деле он едва преодолевает боль, но пока майор поблизости, старается идти ровно. Только на бульваре удается остановиться и, выбрав пустую скамью, с приятностью вытянуть ноги. Его взгляд неспешно скользит вокруг, подмечая приметы курортной жизни: модные лавки с одеждой, где манекены похожи на застывших от жары людей; ползущую в гору, точно змея, пеструю толпу; верхушки деревьев, откуда временами осыпаются стаи голубей; шумную проез-

жую часть с торговцами вдоль нее и медлительными экипажами. И вдруг, как уже было возле дома, катят те же дрожки, с тем же кучером, с той же дамой, то есть княжной. Она машет издали сложенным в руке зонтиком, машет именно ему, тут не ошибешься. Но он качает головой, словно хочет отогнать морок. Ему не верится ни в этот знак внимания, ни в появление княжны. Не станет же она разъезжать по городу просто так, без цели, без значения...

Мимо проходит майор С., в доме которого обыкновенно собираются за картами. У штабс-офицера Тенгинского пехотного полка тяжелая лошадиная челюсть, и забавно, что у жены, которая его сопровождает, точно такая же — лошадиная.

— Ваше высокоблагородие! — вскочив, Мишель прикладывает ладонь к фуражке, но майор делает движение рукой, мол, отменяю субординацию.

Едва супруги С. пропадают из виду, как на скамью присаживается корнет Глебов. Что за день, думает Мишель, ведь ни минуты не дадут побыть в одиночестве. Но внешне он рад товарищу:

— Корнет, бесшумность твоей походки сделает честь любому пластуно.

— Кавказ этому быстро учит.

— Как твоя рука?

— Спасибо, Лермонтов, заживает понемногу.

— А что прекрасная смуглянка?

— Должна быть поблизости, — он смотрит на часы, чья цепочка по диагонали перечеркивает военный сюртук: — Через пятнадцать минут. У меня, знаешь, как в армии!

Пока Глебов, подкрутив уголки своих холеных черных усов, рассказывает, как продвигаются его отношения со смуглянкой, в Мишеле происходит разительная перемена: он весь подается вперед, напрягается шея, глаза смотрят куда-то вдаль.

— Гляди, опять она! — в его восклицании непонятно чего больше: радости, удивления или испуга.

— Где, кто? — недоумевает корнет, а Мишель показывает на те же дрожки, что были тут недавно, едущие теперь в обратном направлении. — Прости, Лермонтов, не разгляжу... По-моему, кроме армянина с тележкой, там никого нет.

В поведении поручика Глебов не находит особых странностей: офицеры давно привыкли, что Лермонтов — поэт, художник, что он может позволить себе такое, чего нельзя делать остальным.

Покинув бульвар, корнет идет к Скорбященской церкви, где назначено свидание. А поручик остается, раздумывая над тем, отчего с ним такие чудеса происходят... Мираж, видение, душевная болезнь... От духоты, от волокитств, от того, что всякое время пишет... Или, может статься, здешний климат ему вреден... Или горячие воды, которые отдыхающих успокаивают, в нем, напротив, обостряют нервы...

Когда колокол Скорбященской церкви отбивает очередной час, он подходит к безымянной улице позади храма. Чаще всего именно здесь делают кольцо немногочисленные городские экипажи: одни ссаживают седоков, другие их поджидают. Везде он ищет княжну — с усердием, но тщетно. Зато, что немного сердит, ему отчетливо видны корнет с девушкой: они прогуливаются перед колоннадой церкви, затем, сдается, нарочито близко друг к другу стоят в тени липы, а после, оставив «смуглянку» у дерева и осмотревшись вокруг, корнет забирается в городскую клумбу с розами, прикрываясь от посторонних взглядов зданием курсовых касс.

Ах, вот откуда у Глебова всегда свежие цветы! Каков, однако, проказник!

ГЛАВА VIII. НЕТ, НЕ ТЕБЯ ТАК ПЫЛКО Я ЛЮБЛЮ

В нашем «Лацио», то есть в гостинице, есть открытая терраса, правда, я там ни разу никого не видел. Только подумайте, какой силы воображением надо обладать, чтобы, лежа в гамаке под дождем, думать, будто загораешь?.. Сейчас ведь в Пятигорске осень! Не то чтобы сверху постоянно льет, но и по-настоящему солнечных дней не припомню.

И вот однажды я вышел из номера в коридор — а мы жили на последнем этаже — и встретил ту самую танцорку, из-за которой чуть не лишился глаза и которая теперь, перекинув через плечо полотенце, направлялась к металлической лесенке, ведущей на террасу. Ее стройную фигуру обтягивал купальник самой игривой расцветки. Чтобы убедиться, не обманывает ли меня зрение, фальсифицируя девушку, идущую в пасмурную погоду принимать солнечные ванны, я выглянул в окно, подобное иллюминатору.

— Небо на редкость чистое, — произнес я почему-то вслух.

— Что? — спросил появившийся Анатолий и тотчас забыл о своем вопросе, увлеченный безупречными ногами, которые, осиливая ступеньки, исчезали где-то за пределами человеческой доступности.

— Отлучусь-ка на часок-другой, — он юркнул в ту же темную дыру, что и она.

Приняв душ, я привел себя в тот благостный порядок, который только и достигим под действием горячей воды. Еще было приятно, что вот-вот начнется футбол, и я без помех посмотрю, как сборная играет с сильными бельгийцами.

Удовольствие продолжалось минут двадцать: наши лишь отбивались, но счет держался ничейный. За первым пропущенным голом, по существу случайным, последовали второй и третий — забитые по делу, после красивых комбинаций, — и я, как делаю всегда в таких, увы, распространенных случаях, от расстройства выключил телевизор. Или прикажете радоваться позору?

Так, в полной тишине и дурном настроении, я просидел несколько минут, пока не влетел в комнату — от неожиданности я даже слегка вздрогнул — вернувшийся с крыши ловелас и с порога заорал:

— Ты чего в потемках?

Включив свет, орать он не прекратил:

— Мы вино прасковейское покупали, помнишь?

— Не мы, а я.

— Хорошо, ты... Где вино-то? — он рванул на себя дверцу холодильника, погромел там, вытащил на свет божий бутылку и поднял ее против этого света, чтобы полюбоваться, значит, как играет солнце в густом, темно-красном, манящем...

Это зрелище приманило и мой взгляд, тем более что сборная безнадежно проигрывала, мазохистом я не был и не любил подолгу оставаться в одиночестве.

— Тебе же не понравилась Карина, — он на ходу повернул голову, когда я шествовал за ним по коридору.

— Не знаю никакой Карины.

— Ее так зовут, — он похотливо улыбнулся, опять показав мне свой профиль.

— А я думал, княжна Мери.

— Брось свои книжные шуточки!

На террасе стояло, пожалуй, десятка два лежаков — все одинаковые, из черного пластика, за исключением одного, белешего в отдалении, где, вытянувшись этакой

ленивой кошечкой, лежала девушка Карина. На ней были упомянутый ранее цветастый купальник, солнцезащитные очки и для той же цели козырек-тенниска. Возле лежака расположилась тумбочка с двумя бокалами, бутылкой какой-то сладкой шипучки и открытой книгой, страницы которой прижимал красивый, с желтым ободком камень.

Анатолий лег на соседний с нею лежак, немного придвинул к себе стоявшую между ними тумбочку, куда водрузил прасковейское, а рядом поставил еще один бокал (надо думать, заботливо взятый для меня). Я же присел неподалеку на стул из того же пластикового гарнитура.

— Ну, — он с радостью потер руки, и тут, по-видимому, ему вспомнился оставленный в номере штопор. Ни пальцы, ни нож, ни зубы даже в совокупности помочь делу не могли. Тогда он рванулся вниз, заверив, как ему было угодно выразиться, что одна нога здесь, другая там.

— Что ты читаешь? — обратился я к девушке, едва улегся ветерок после его поспешного исчезновения.

— Подруга посоветовала, — она показала обложку книги, почти целиком занятую золотистого цвета овалом, посреди которого красовалась кинодива, чем-то похожая на Карину. Названия книги, да и бог с ним, я разглядеть не успел.

— А почему это на «ты»? — вдруг сообразила она.

— Представь, как было бы глупо, если бы я обращался к тебе по имени-отчеству, которого, к слову, не знаю. Поэтому только Карина и только на «ты».

Якобы обидевшись, она шевелила надутыми ботоксом губами, правда, недолго. Да и будешь ли особо усердствовать, когда не обращают внимания?

— Что-то его не видно... — протянула она, на что я рассеянно ответил, будто штопор такая непростая вещь, такая загадочная... И сам для себя неожиданно спросил:

— Карина, без вина тяжело приходится?

До нее не дошла язвительность вопроса. Хотя когда ее гипертрофированные губы начали вытягивать сладкую влагу из бокала, мне подумалось: может, тем самым она показывает, что предпочитает безалкогольные напитки?

Так ли это, осталось неясным, поскольку он — в плавках, тапочках на босу ногу, с безумно горящими глазами — внезапно появился с противоположной стороны, где, оказывается, тоже была лестница на террасу. Из его сумбурной речи стало понятно, что, обшарив все углы, он добился лишь одного: привел наше жилище в полнейший беспорядок.

— Попробуй спросить на ресепшене или, что скорее, у бармена, — посоветовал я, и он унесся столь же быстро, как и возник.

— Куда делся твой ревнивец? — продолжил я светскую беседу.

— Его Кириллом зовут, — ответила она так, словно я интересовался именем. — Знаешь, ты не обижайся на него из-за этого... — она подбирала слово и остановилась на весьма странном, — из-за бильярда.

— Где же он сейчас? — повторил я. Странно, во мне уживались два взаимоисключающих желания: с одной стороны, мне не хотелось новой драки, а с другой — в глубине души я рассчитывал на реванш.

— У него какие-то дела в Краснодаре, на несколько дней уехал. А вообще, он владец клуба исторического оружия: алебарды, шпаги, пистолеты... Ты что, обзавидовался? — вдруг спросила она. И было непонятно, почему и, главное, к чему у меня может возникнуть зависть.

— Если честно, то очень, — я рассмеялся и после продолжил, показав на то место, где прежде был синяк: — Обидно, что, так сказать, непрофильным оружием.

Развить эту увлекательную тему помешал какой-то сложносоставной звук; приблизившись, он распался на простые части: торопливый и тяжелый топот, позвякивание железа о стекло бутылки и вопли, превозносившие гений человека, который сумел завершить сложнейшее «штопорное» дело.

— Кариночка, — он налил бокал ей, затем себе, — Кариночка, за тебя, дорогая. За твою неземную красоту!

Не удивляясь ни примитивности тоста, ни тому, что меня не угостили моим же вином, я распрощался, что было почти не замечено, и направился к выходу под звон бокалов и щебетанье голосов.

* * *

— Оказывается, вы не Верзилина, а Клингенберг, — Мишель изобразил на лице сардоническую улыбку вкупе с инфернальным взглядом.

— Оказывается, — без паузы ему в лад ответила она, — вы охочи до сплетен.

— Сплетнями занимается ваш монсеньор Кинжал, — движением руки он показал как бы висевшее на поясе холодное оружие горцев.

— Отчего же он мой?

— Потому хотя бы, милая Эмилия, что именно ему вы доверяете семейные тайны.

— Помилуйте, Мишель, какие тайны?! О том, что Петр Семенович мне отчим, только ленивый в Пятигорске не знает.

— Стало быть, я ленив, в отличие от того же монсеньора.

Он вел разговор со старшей грацией напротив дома генерала Петра Семеновича Верзилина. Увидев ее с книгой перед открытым окном, Мишель тихонечко, совсем пошколярски присвистнул, и она, отложив чтение и вкрадчиво посмотрев по сторонам, через минуту уже была на улице...

— Ах, пожалейте бедную падчерицу, — во всех затруднительных случаях, не будучи готова с ответом, Эмилия прибегала, как ей казалось, к колдовским чарам, а именно разыгрывала из себя, естественно отчасти в шутку, провинившегося ребенка, даже в шалостях которого столько невинности и обаяния, что ничего не остается, как только дитя простить.

Судя по выражению его лица, Мишель прощать не собирался и, похоже, приготовился решительно это обнаружить, когда издали донеслось:

— Поручик, ты где?.. Привезли, что ты просил!

Отличить голос Монго, соучастника проделок еще с юношеских лет, ему удалось бы среди тысячи. Интересно, какая нынче оказия, подумал он и с серьезностью, которая как раз и выдавала юмор, обратился к Эмилии:

— Сами посудите, как я могу послушаться родного дядю?

Далее он с тем же озорством посетовал, что у них как в деревне — кричат на всю округу, и обещал немедля вернуться.

Прошло, однако, не менее получаса, прежде чем Мишель вновь появился на улице. Он сразу увидел старшую грацию, благо расстояние от дома, где они с Монго квартировали, до генеральского особняка с белокаменным цоколем составляло всего-то сотню метров. Эмилию окружали молодые поклонники, по преимуществу в азиатских костюмах. Их кони стояли тут же, привязанные к изгороди.

Даже издали было заметно, что девушка теперь опоясана черкесским кушаком, на котором висит маленький, самой изящной работы черкесский же кинжал. Его, по всей видимости, подарил кто-то из наездников. Они о чем-то весело говорили, и она, беззаботно отвечая, тоже веселилась.

— Не правда ли, хорошенький? — Эмилия вытащила кинжал из ножен, повертев им из стороны в сторону. — Как вам, поручик? — обратилась она к подошедшему Мишелю.

— Да, очень хорош, — произнес он. — Таким детей особенно ловко колоть.

Этим дерзким ответом он явно намекнул на упорно ходившую молву, будто Эмилия Клингенберг терпеть не может детского общества. Кто-то из молодежи рассмеялся. А после все они сели на коней и с хохотом умчались вниз по улице.

Снести оскорбление, пусть в завуалированной форме, но сделанное при всех, самолюбивой грации было непросто. Но недаром Эмилия слыла девушкой с характером: ее выдала только мимолетная злая искра в глазах, в остальном же она превосходно справилась с эмоциями.

— Для чего вы понадобились дяде? Что за срочность?

— Грузин-торговец привез две бочки кахетинского. Я их давно ждал, так что нужно было снять пробу.

— И как вам?

— И цена сходная, и вино отличное, — он провел ладонью по губам, на что Эмилия улыбнулась:

— Выходит, вы пьяны.

— Ничуть, я лишь пригубил. А вот касательно Монго не уверен, ведь он остался наедине с дивным напитком, противостоять которому способен не всякий.

Они уже не колюче, а с приятнью посмотрели друг на друга, и Мишель спросил:

— На чем мы закончили, перед тем как меня позвали?.. Ах да, вы бедная падчерица! Она снова приняла наигранно скорбный вид:

— Вам и не представить, насколько тяжело мне приходится.

— Вы, солнце Кавказа, как называл вас Данилевский или как вторил ему Пушкин, звезда Кавказа, вы, которую сейчас зовут не иначе как роза Кавказа, — вы терпите несчастья? Не поверю!

— А это так... Я девушка, и вы не способны меня понять...

— Эмилия, что я могу для вас сделать? — он приблизился, мягко взял ее за плечи. — Может, от моего поцелуя вам станет хоть чуть-чуть легче?

Она молчала, но было заметно, что услышанное доставило ей немалое удовольствие. Как же приятно вертеть мужчинами! Она исполнила свою роль с блеском, и теперь черед за ним. Прямо в эту минуту, когда ее глаза томно прикрыты, голова откинута, слегка дрожат губы...

Эмилия не сразу догадалась, что вдруг возникшие неясные звуки есть не что иное, как удалявшиеся шаги Мишеля. Когда он обернулся, то его радостное лицо, а после поднятая рука с растопыренными пальцами привели ее в такое смятение, что ладонь сама собою легла на рукоять сувенирного кинжальчика...

Мишель же отправился к Юрию Павловичу, знакомство с которым он завел исключительно из баловства, уж больно карикатурен был этот пожилой мужчина в истертом старомодном сюртуке, который к тому же был столь узок, что весьма смешно обтягивал его немалый живот. Не менее забавно он погружал свой стакан — на беленьком снурочке, как ему нравилось выражаться — в целебный колодец, принимая, подобно другим отдыхающим, самую академическую позу. Воду он пил так, словно бы на балконе своей дачи прихлебывал чай, даром что сушек не хватало. Обыкновенно подобным образом выглядели в Пятигорске приехавшие из провинции почтенные отцы семейств. Выяснилось, однако, что, будучи на самом деле таковым отцом, Юрий Павлович прибыл на воды один и остановился в гостинице неподалеку от источников, дабы лечить застарелую геморроидальную болезнь.

Кроме беседы с Юрием Павловичем, что всегда служило Мишелю развлечением, он рассчитывал хотя бы наскоро у него перекусить, раз уж из-за старшей грации остался без обеда.

— Увы, — постоялец вытянутого чулком дешевого гостиничного номера развел руками, — я уже отобедал в ресторации у Найтаки. А здесь ничего не держу. Извините...

— Да ничего и не надо. Мы же на водах, а тут принято не есть, а пить, — он вынул из кармана мундира бутылку предусмотрительно взятого с собой кахетинского.

После выпитого обычно скромный Юрий Павлович стал разговорчивым:

— Что сейчас пишете, Михал Юрьич?

— Так, прозу всякую из здешней жизни...

— Интересно-интересно!

— Ей-богу, ничего особенного... Ну, есть герой, который очень устал от людей, от всего нашего времени...

Юрий Павлович с оживлением подхватил фразу:

— И он едет лечить свой сплин на воды!

— Вы необычайно догадливы! — рассмеялся Мишель, после чего как бы в награду налил хозяину до краев бокал вина, который тот одним махом выпил и, придя в крайне взволнованное состояние, воскликнул:

— А стихи? Дайте мне образец ваших последних опытов!

— Что ж, извольте... — задумавшись на мгновение, Мишель начал с преувеличенным и оттого смешным значением в голосе:

Очарователен кавказский наш Монако!
Танцоров, игроков, бретеров в нем толпы;
В нем лихорадят нас вино, игра и драка,
И жгут в нем женщины, а по ночам — клопы!

Исполнившись еще большего восторга, хозяин заявил, что строки чудные, что, наверное, это только почин и в дальнейшем будет целая поэма. Ничего не отрицая, Мишель выглядел совершеннейшим ребенком, нашедшим, к своей радости, полного дурака во взрослом.

Наконец и как-то вопреки прежде сказанному Мишель стал убеждать собеседника, будто литература всего лишь забава, в то время как подлинный его интерес всецело на стороне женщин.

— Как же так? — Юрий Павлович был решительно поражен перемене, произошедшей во взглядах поэта.

— Вы только представьте, — Мишель дал время хозяину, чтобы тот представил, — взялся бы я за перо, когда не было бы вокруг нежнейших созданий, которые одни только и могут понять и оценить? И другие сочинители, вы уж поверьте, имеют точно такое же суждение.

Пока Юрий Павлович размышлял над словами Мишеля, тот принялся рассказывать о своих светских приключениях и был и умен, и находчив, и остер на язык.

— Взять мое последнее волокитство — Эмилия Клингенберг... Как, вы ее не знаете?.. Роза Кавказа!.. Вот видите, стоит только с точностью назвать предмет, чтобы не осталось никаких сомнений. Что она такое?.. Одни говорят: грациозная, до невероятности обворожительная девушка, превосходная музыкантша на фортепиано. Для других же ее прелести в прошлом, нынче она лишь бледная тень себя самой, вдобавок с незавидной репутацией.

— А вы о ней какого мнения? — от любопытства Юрий Павлович аж руки потер.

— По мне она... — закулив пеньковую трубку с янтарным мундштуком, что, вообще-то, было запрещено для офицерского состава ниже капитана, Мишель сделался плавным в манерах и речи — под стать медлительному табачному дыму. — Именно что роза, но роза увядшая. Кокетка, которая разбивала сердца мужчин, сталкивала своих поклонников и получала от этого наслаждение. Она пытается делать это и теперь, только, глядя на ее потуги, наслаждение получаю уже я.

— Не могу вас до конца понять, — высказался Юрий Павлович.

— Да оно и ни к чему, — Мишель выбил табак из трубки. — Мне, знаете ли, пора на службу, иначе разжалуют в рядовые, особенно за курение. Надеюсь, вы не желаете для меня такой участи?

Мишель самым учтивым образом откланялся.

ГЛАВА IX. ТАИНСТВЕННЫМ Я ЗАНЯТ РАЗГОВОРОМ

Побывать в Пятигорске и не увидеть Провал — это, знаете ли... Вот и я не знал, почему он упрямится, когда я предлагаю туда сходить.

— Ты же любишь литературу, — глал я, лишь бы вызвать у него интерес.

— Да, — важным голосом соглашался он, — только хорошо.

— Два знаковых произведения — куда уж лучше? Во-первых, «Герой нашего времени», а второе — «Двенадцать стульев». Такие разные, но такие одинаково прекрасные романы!

— И что? — равнодушно осведомился он.

— А то, что и там, и там упоминается Провал. Помнишь, как Остап Бендер организовал продажу билетов, а когда подошедшие милиционеры спросили, для чего взимается плата, он ответил, что с целью капитального ремонта Провала, чтоб не слишком проваливался.

Моя тирада ничуть на него не повлияла, и тогда, зная о его любви к кино, я перечислил по памяти, какие фильмы снимались в Пятигорске и конкретно возле Провала. Эти подробности тоже не возымели действия. Оставалось только одно средство...

— Идем направо, — предложил я, когда мы вышли на прогулку, не имея ни цели, ни сколько-нибудь примерного маршрута.

— Направо какая-то глушь... Давай в противоположную сторону.

— С удовольствием.

Так дошли до перекрестка, где повторился тот же разговор.

— Теперь вокруг этого садика, — почти приказал я, что, к моей радости, вызвало в нем бурю чувств:

— К черту садик! Как шли прямо, так и пойдем!

Не скрывая, насколько мне приятно, что мой хитрый план срабатывает, я в то же время сильно удивлялся ничтожности затраченных для этого усилий. Тут можно было и по прежним временам заскучать, когда он нипочем не поддавался на мои уловки. Что же изменилось?.. Неужели у минеральной воды есть еще и такое доселе неизвестное свойство?..

На следующем распутье, откуда путь лежал либо вниз, либо вверх, у меня естественно возникла мысль двигаться по наклонной, а у него, столь же естественно, топтать в гору. Его желание было тем поразительнее, что за время нашего пребывания в Пятигорске впервые выдалась по-настоящему южная погода. Когда мы очутились на самом верху, я предложил отдохнуть на скамейке, но он, хоть по его вискам и скатывались капли пота, прошествовал мимо меня с гордо поднятой головой. Догнать его не составило большого труда, и я зашагал рядом.

Уверен, мы так и шли бы дальше, если бы я не сказал, насколько приятна тенистая аллея в этот жаркий день. Он моментально свернул на разбитую тропу, где на поверхность земли выбирались огромные, серого цвета камни, ящерицы выскакивали из густой высокой травы, а по лицу хлестали ветки какого-то колючего кустарника. Казалось, выбраться отсюда нам уже не суждено...

Прислонившись к символу города — скульптурной композиции «Орел, терзающий змею», — он долго не мог отдышаться. В китайской беседке у него на губах выступила белая пена. Он едва не упал, не сумев одолеть ступеньку, когда мы поднимались по лестнице к павильону «Эолова арфа». Здесь стояли рядышком дорогой ресторан и дешевая столовка, которые были без возражений отвергнуты, стоило мне только заикнуться туда зайти.

Я ушам своим не верил, потому что, в отличие от меня, он в любых поездках в первую очередь заботился о том, чтобы был полноценный обед. Кроме того, повторяюсь, я хожок, тогда как для него порой и километр пройти тяжело.

От Академической галереи (в прошлом Елизаветинской) дорога пошла еще круче. Не радовали ни старинные постройки, ни двухвековые деревья старейшего в городе Емануелевского парка. То есть не радовали меня, ему-то наверняка было вообще не до них. Он отдувался, пыхтел и временами ругался сквозь зубы. Такова уж его натура: в пик у меня хоть умереть.

Хаотически чередуя улицы и переулки, площади и сады, в конце концов мы вышли на бульвар Гагарина. Плавный, без резких подъемов и спусков, он полукругом огибал подошву Машука. После передряг предыдущего пути идти было одно удовольствие. По левую руку вырастали из-за заборов дачи, возведенные в начале двадцатого века, когда здесь случился строительный бум. Советское время превратило их в санатории, а нынче многие вновь сделались частной собственностью. О стоявших справа постройках можно было бы повторить то же самое, что, впрочем, ничуть не умаляло ни достоинств стиля «модерн», ни таланта архитекторов.

Над нами, давая сплошную тень, переплетались листья дубов; то здесь, то там пульсировали группы фонтанчиков или самодовольно бил струей фонтан-одиночка в окружении каменных скамеек; повсюду приманивали взгляд бокалы, львы, курительные трубки, луноподобные крендели, перекрещенные мечи, медведи и прочее, что служило украшением вывесок разного рода заведений, где знают, какие мелодии ароматов нужно исполнять, играя на страсти чревоугодия.

Даже у меня, обычно равнодушного к еде, сводило желудок от голода. Можно представить, какие чувства испытывал он! По правде говоря, его мучения пора было прекращать...

— Так бы и ходил еще и час, и два. Никакой усталости!

— Усталости... — повторил он обреченно и вдруг окатил меня всем тем, что с утра в нем копилось: злостью, отчаянием, безнадежностью и желанием растерзать того, кто принуждает совершать марш-броски под палящим солнцем. А я, словно бы его не расслышав, оставался верен выбранной теме:

— Удивительно, есть совсем не хочется. Весь день на ногах — и не хочется!.. Впрочем, — сразу поправился я, вовремя заметив, что его желудочный сок может забрызгать меня с головы до ног, — впрочем, имеется тут неподалеку одно заведение с хорошей кухней.

— Что значит неподалеку?! — ему насилу удалось сдержать ярость.

На самом деле едва мы вышли из «Лацио», я все время вел его к Провалу — круглыми путями, не давая ни присесть, ни перекусить. По-другому, увы, было невозможно... Сознаюсь в содеянном! Но как говорит о том русский парадокс: не согрешишь —

не покаешься, не покаешься — не спасешься. Именно спастись я и отправлюсь в здешний кафедральный собор, и буду усердно молиться, и зажгу свечу перед ликом Господа. Но сначала мы сходим к Провалу, вход в который с лежащими по бокам львами уже виднеется за плавным поворотом бульвара.

* * *

Мишель с товарищем выходят во двор, где у коновязи стоит пара оседланных офицерских лошадей.

— Верхом, — предлагает Монго.

— Я не видел еще ни одного, кто смог бы доскакать до Провала. Если помнишь, туда ведет узкая тропинка меж кустарниками и скалою.

— Разве мы говорили не о том, чтобы отправиться в кабардинскую слободу?

— О чем бы я ни говорил, но мыслил о Провале, — коротко смеется Мишель и смолкает, потому что они входят в тесный от деревьев лес, который начинается сразу за их домом. Отсюда дороги с версту, может, чуть более. Провал расположен на скате горы Машук — это воронкообразная пропасть глубиною в пятнадцать саженей, на дне которой находится глубокий бассейн серной воды.

У Мишеля странное настроение, тем не менее знакомое многим офицерам полка: он задумчив, угрюм и смотрит на собеседника так, будто впервые его видит. Всю дорогу до Провала и обратно он молчит, так что смущает даже малоразговорчивого Монго, и тот, лишь бы завести беседу, начинает:

— Ученые, кому случилось побывать в Пятигорске, утверждают, что этот провал есть не что иное, как угасший кратер.

— Откуда же взяться ученым? Ты хотя бы одного встречал? — только и говорит Мишель, вновь погружаясь в раздумья. Очевидно, его спутнику молчать нелегко, и он заходит с другой стороны:

— Как тебе серный дух?.. Туда славно было бы привести наших дам. Пускай знают, каково в преисподней!

Обыкновенно, услышав о женщинах, Мишель становится весел и насмешлив, но теперь он пропускает шутку мимо ушей. Что-то глубокое и тихое, чему нет названия, лежит на его челе и ограждает от внешнего мира.

Когда они проходят под окнами дома Верзилина, то невольно сбавляют шаг. Оттуда доносится изумительной красоты и силы музыка, так что несколько человек, среди которых виднеется и один офицерский мундир, слушают затаив дыхание.

— Шуберт? — будто самого себя спрашивает Мишель.

— Какая-то из граций, — откликается Монго, — либо Надежда, либо Эмилия. Бьюсь об заклад, что старшая.

Оставив товарища в недоумении стоять посреди улицы, Мишель идет к воротам генеральского особняка. Пользуясь свободой здешних нравов, он без доклада заходит в гостиную, где, чуть откинувшись, раскачивается и играет, играет и раскачивается...

Он садится сбоку от фортепиано, свешивает голову на грудь и застывает в этой позе, пока последние звуки, как будто на цыпочках, не удаляются из гостиной. Тогда он встает, целует руку пианистке и по-прежнему молча, никому не мешая, выходит в прихожую, а оттуда на крыльцо. Первым, кто попадает в поле его зрения, оказывается Монго, хотя с момента, как они расстались, прошел уж добрый час.

— Дядя, — так он обращается чаще всего в шутку, иногда, как сейчас, от удивления, — дядя, ты что, все время был здесь?

— Отчего же? Сходил в ресторацию, отобедал... Ну что, моя правда?

— Нет, пари ты проиграл.

Достав кошелек, Монго видит, что после обеда там почти ничего не осталось, и, смутившись, говорит:

— Я отдам, как только вернемся...

— Помилуй, какие деньги? Мы же не делали ставку!.. А младшая играет бесподобно! С таким талантом ей бы в Петербург!

— Надежда... — едва слышно произносит Монго и хочет что-то добавить, но слова разбегаются в стороны.

— Впредь слушай не музыку, а голос сердца, — Мишель обнимает за плечо старого друга. — Да, кстати, ты куда сейчас?..

Услышав ответ, он невольно хмурится, говорит, что тоже собирается домой, что хочет... Однако товарищ его перебивает, проявляя редкое для его апатичной природы живое чувство:

— Как замечательно, а то день идет с какой-то унылостью! Позовем хоть корнета, хоть князя Васильчикова, хоть Мартышку — вот и составится партия в бостон!

— Извини, не расположен сегодня к игре... Решил, что буду рисовать.

— Ничего не может быть лучше! — и этому радуется Монго. — Я молчаливником сяду в углу, возьму книгу или журнал... Как думаешь, что предпочесть?

Они заходят в комнату с окнами в сад, и Мишель достает с полки французский иллюстрированный журнал, где на обложке перемешано все подряд: дама в модном наряде с вышитым розами шлейфом; кружащийся платьями и фраками дворцовый бал; охотник, у которого ружье под мышкой, а патронташ на боку; рядом с ним гончая в черных и рыжих пятнах на голове и плечах, а чуть дальше французской верховой породы жеребец.

— Тут, дядя, на любой вкус, — он протягивает журнал, раскрывая его на картине, изображающей офицера перед пустым бильярдным столом, и заканчивает, сдерживая улыбку: — По-моему, шаров не хватает.

Закинув ногу на ногу, дядя погружается одновременно в кресло и в чтение. Как и обещал, сидит он тихо, разве что иногда тянет воздух ноздрями и легонько вздыхает.

Пока поручик готовится к рисованию, звуки со стороны кресла становятся реже, а потом и вовсе смолкают. Он оборачивается: положив журнал на колени, Монго спит без малейшего движения; при этом иллюстрация на развернутой странице показывает жокея, несущегося, с горбатой от усердия спиной, к финишной черте. Усмехнувшись разности положения жокея и дяди, Мишель возвращается к работе...

Когда рисуешь с детства, то так и будешь до конца дней. Деревца сменятся деревьями, травка — травой, а человечки — людьми. Вот и вся разница... Да, еще жанр стал другим — он теперь карикатурный. Здесь иначе нельзя: офицеры принимают лишь те рисунки, где изображены общие знакомые (никак не они сами!) и где можно дать волю смеху — хоть дружелюбному, хоть злomu.

Для этой нужды всеобщего увеселения есть альбом, в котором языком рисунка дается полный отчет о буднях и праздниках. Тут имеется все: и муштра на плацу, и кавалькады, и пикники, и балы, и батальные сцены. И хотя офицеры, кто лучше, кто хуже, владеют, одни карандашом, другие кистью, — он среди них единственный, чье рисование принимается единодушно. А самый любимый его персонаж — отставной майор Николай Мартынов. Существует даже, кроме основного альбома, еще один, поменьше, целиком посвященный майору.

Например, Мартынов верхом перед триумфальной аркой, а кругом встречают его дамы, восхищенные и пораженные красотой наездника. И сам герой, и многие из дам

замечательно похожи. Под рисунком, если кто-то не понял, надпись: «Кинжал, въезжающий в город Пятигорск», что в известной мере отсылает к библейскому сюжету. Также есть Мартынов исполинского роста, с громадным кинжалом от пояса до земли, и этот гигант общается с самой миниатюрной из сестер Верзилиных. А вот еще рисунок, где Мартынов в стычке с горцами что-то кричит, машет кинжалом, сидя вполоборота на лошади, поворачивающей вспять. Подоплека здесь такая: майор ездит плохо, но с претензией, неестественно изгибаясь, при этом объясняет свое не слишком храброе поведение в бою тем, что его лошадь боится выстрелов и скачет от них.

Он рисует и остальных офицеров, и горцев, и местных жителей, и поправляющих здоровье, и матерей семейств, и, конечно же, трех граций. Однако все они ничто по сравнению с Мартыновым, изображение которого он довел до такой гениальной простоты, что показывает только характерную кривую линию да длинный кинжал, и каждый тотчас узнает, кто перед ним.

Оба альбома хранятся у корнета Глебова. В иные дни, чтобы вместе посмеяться над карикатурами, он навещает Мишелю. Вот и теперь, предварительно стукнув в дверь, как у них заведено, три раза, корнет заходит в комнату. С порога он весело спрашивает, показывая на рисунок в альбоме:

— Кто этот худой посреди кровожадных кавказцев? Неужто князь Васильчиков? Или все-таки Монго?

Только сейчас он замечает, что автор рисунка, перед которым лежат отложенные в сторону краски, читает книгу с английским титулом. Не скрывая недовольства занятого делом человека, Мишель смотрит на вошедшего.

— Прости великодушно... — начинает Глебов, но Мишель прикладывает палец к губам и кивает в сторону спящего офицера. Тот, однако, подает признаки жизни: мотает головой, трет ладонью глаза и медленно встает, так что французский журнал с колесом падает на пол. Его красивая голова на худой шее склоняется над столиком, где лежит альбом. Известный своим ровным характером, он добродушно улыбается, узнав себя в длинноногом наезднике с нелепо серьезным выражением лица.

— Будь на твоём месте монсеньор Кинжал, — замечает Глебов, — нам с Лермонтовым было бы несдобровать.

Монго поднимает с пола журнал, кладет его рядом с альбомом, мимоходом обращаясь к поэту:

— Кажется, ты хотел рисовать... Чем же занят теперь? — и поскольку тот молчит, он настаивает с вопросом.

— Тут две библиотеки, но одна другой хуже, — нехотя объясняет Мишель. — Вот попросил бабушку, чтобы прислала, — он показывает на стопку изданий, занимающих всю поверхность тумбочки.

— Жуковский, Шекспир, Пушкин, Бэкон... — читает вслух корнет.

— Добавь сюда лорда Байрона в оригинале, — Мишель кладет томик стихов, где на обложке выведено золотом «The Giaour», рядом с остальными книгами. — Вы, господа, все равно не дадите спокойно почитать, так не лучше ли будет прогуляться, благо вечер тихий и совсем нежаркий.

— Я пас, господа. У меня встреча с прекрасной смуглянкой, как ты ее называешь, — быстро произносит Глебов.

— Не забудь сорвать свежие цветы, — кричит Мишель вдогонку корнету, и тот в растерянности замирает в дверях. Не обращая на него внимания, поручик продолжает самым обыденным тоном: — А мы с Монго, подобно старым воякам, проветрим раны на воздухе и вспомним былые схватки.

ГЛАВА X. НЕТ, Я НЕ БАЙРОН, Я ДРУГОЙ

Редко ходишь в один и тот же музей несколько раз подряд, пусть даже в такой необъятный, как Эрмитаж, Лувр или Третьяковка. И уж точно остаешься дома (если нет какой-то особой причины), когда экспозицию от начала до конца можно осмотреть за час-другой.

Однако я шел. Несмотря на то, что с последнего посещения музея Лермонтова минуло-то всего ничего. Вернее, мы шли вместе, и на этот раз он не слишком упирался, хотя ради приличия поворчал, конечно, и даже не отказал себе в удовольствии упрекнуть музейных работников в непрофессионализме. В чем заключался этот непрофессионализм, он, правда, объяснить не удосужился. Причины его теперешней податливости были яснее ясного: в предыдущий раз экскурсию мы не дослушали, в самые любопытные отделы музея не зашли, зато побывали там, куда обычно никто из туристов не ходит, — и все лишь из-за его упрямства и страсти к противоречию. Теперь надо было наверстывать упущенное.

Мы изначально договорились (договорились!) идти не по следам экскурсовода, а направиться к домику Лермонтова; его так в музее называют, хотя поручик Лермонтов и капитан Столыпин (он же более известный друзьям и знакомым как Монго) здесь только снимали жилье, а принадлежал дом совсем другому человеку...

— Отставной плац-майор Василий Иванович Чилаев построил на своей усадьбе домик для сдачи внаем приезжим посетителям вод и офицерам.

Это рассказывала пожилая, но вполне бойкая женщина, к чьей экскурсии мы незаметно подкрались и встали в задних рядах.

— В середине дня, — продолжала она свой рассказ, — Лермонтов со Столыпиным приехали к Чилаеву. Они снаружи осмотрели стоявший на дворе домик, зашли вовнутрь, и Лермонтов, выйдя на балкон, погрузился в раздумья. Между тем Столыпин сделал еще раз ревизию комнатам, не обошло с его стороны без замечаний и поправок, после чего, осведомившись о цене квартиры, он также проследовал на балкон и сказал Михаилу Юрьевичу: «Просят сто рублей серебром до конца курортного сезона... Что, Лермонтов, хорошо?» — «Ничего», — ответил поэт с небрежностью, но, очевидно, остался недоволен тем, что вмешались в его заветные мысли. Наверняка он писал стихи, быть может, именно эти:

Люблю отчизну я, но странною любовью!
 Не победит ее рассудок мой.
 Ни слава, купленная кровью,
 Ни полный гордого доверия покой,
 Ни темной старины заветные преданья
 Не шевелят во мне отрадного мечтанья...

Завершив на замирающей ноте, она постояла молча и не двигаясь. Пауза длилась ровно столько, сколько нужно, чтобы экскурсанты до конца впитали в себя великую поэзию.

— Сказав «ничего» — так лаконично! так для него несвойственно! — поэт, возможно, предчувствовал, какая участь ожидает его в этом доме. Но отказать другу не смог... Окажись на месте Столыпина человек более чуткий, он, скорее всего, уловил бы настроение Михаила Юрьевича и тем самым спас его от гибели... Столыпин, однако, упорствовал: «Так что, поручик?» И даже тогда поэт долго молчал, прежде чем произнес

через силу: «Здесь будет удобно... Дай задаток!» Столыпин вынул бумажник и запла- тил все деньги за квартиру. Вечером того же дня они сюда въехали...

Когда вместе с Анатолием я вошел в дом, тот оказался настолько тесным, что груп- пе пришлось делиться на части, иначе преимущество получали те, кто повыше или понаглее. Экскурсовод рассказывала, что офицеры держали один стол, жили дружно, что комнаты, выходящие во двор, назывались столыпинской половиной, а выходящие в сад — лермонтовской, что хозяйством и людьми, как более рачительный, заве- довал Столыпин.

Анатолия больше другого привлекли (вероятно, ему уже хотелось домой) стояв- шие у стены дорожные вещи: колясочный сундук, обитый телячьей кожей, деревянная шкатулка для бумаг, а также вещь, можно сказать, полудорожная — железная склад- ная кровать, незаменимая в походных условиях. Пока он осматривал предметы минув- шей эпохи, я выбрался на балкон, откуда поэт любил глядеть на утопавший в зелени го- род и хорошо видные в ясную погоду хребты кавказских гор. Мне, однако, открылась совсем иная картина: на траве, в тени акаций и сирени, лежали юноша и девушка — те самые Кирилл и Карина. И все бы наверняка как-нибудь обошлось, если бы одно- временно не случилось два события: изучив, что надо брать в дорогу, Анатолий присо- единился ко мне, а Кирилл и Карина, по-прежнему лежа и теперь отбросив всякие при- личия, слились в страстном поцелуе (употребляю эту невинную и расхожую формули- ровку, дабы не описывать откровенную сцену, которая перед нами разыгралась).

Разумеется, я не вправе был ожидать от него каких-нибудь героических поступ- ков, но то, что он вмиг умчался обратно в гостиную лермонтовского дома, иначе как трусостью не назовешь.

— Ты что? — я потряс его за плечи.

— Уходим, — прошипел он.

— А то, что тебе нравится эта, с позволения сказать, девушка?

— Так, глупое увлечение...

— А то, что Кирилл перепутал мой глаз с бильярдной лузой?

— Уходим, — снова прошипел он и, увлекая меня за собой, поспешил к выходу.

Собственно, я особо не сопротивлялся: синяк исчез, оставив после себя лишь узкую желтоватую полоску; к тому же Кирилл, если разобраться, был по-своему прав: к его девушке или жене (бог знает, кем она ему приходилась) нахально пристают, вдобавок какой-то тип встает на пути...

Когда мы покинули музей, я отчасти в шутку, отчасти всерьез сказал:

— Тебе нужно было воспользоваться опытом предков — вызвать его на дуэль!

— Ага, ты же сам рассказывал, что он владеет всеми видами оружия.

Я развеселился и, чтобы добавить перца, нервным движением повернул голову на- зад; затем, пройдя несколько шагов, повторил этот маневр, только с большой опаской.

— Он сзади, — я резко одернул Анатолия, не давая оглядываться. — Пусть думает, что нам на него наплевать, что мы его не боимся, идем как ни в чем не бывало.

Однако «как ни в чем не бывало» не получилось: Анатолий сразу припустил по на- правлению к бульвару, мне пришлось торопиться следом. Между памятником Лер- монтову и Спасским собором, где надо было определиться, в какую сторону идти, он предложил:

— Не сходить ли нам в Цветник? Наши соседи по отелю утверждают, будто там есть красивейший грот!

И хотя тон у него был приподнятый и в описании грота даже мелькнуло словеч- ко «уникальный» (он иногда любил окрылять свою речь, путая, правда, какие крылья

каким птицам принадлежат), его руки беспокойно теребили ворот куртки, а взглядом он все пытался нырнуть поглубже в проем той улицы, по которой мы только что шли. Нет ли там зловещего соперника с пистолетами и шпагами?

Еще меня очень удивило его «соседи по отелю» применительно к гроту. Ведь об этом я, именно я, читал ему большую статью из купленного в первые дни путеводителя.

— Грот Дианы! — провозгласил он с воодушевлением, понять которое вряд ли смог бы и самый восторженный краевед.

Мы стояли напротив скалы, вход в которую являл собой портик о трех арках и двух колоннах темного камня.

— Грот Дианы, — уже без прежнего пафоса повторил он и дальше сбивчиво, многое перевирая, начал рассказывать историю этого места. Еще в самом начале ему, похоже, сделалось ясно, что задача не по плечу, и он без всякого зазрения совести, а напротив, с проворством фокусника извлек из куртки путеводитель и, точно написано было им самим лет десять назад, стал читать:

— Это искусственная пещера на склоне горы Горячей. Ее задумали и осуществили архитекторы братья Бернардацци, швейцарцы по происхождению, на счету которых десятки жилых и казенных домов в Пятигорске. Грот строили в честь первого восхождения на гору Эльбрус экспедиции под руководством генерала Эммануэля. У входа в пещеру раньше стояли чугунные доски с текстами на русском и арабском, которые рассказывали о покорении вершины Кавказа. Открытый в 1831 году, грот был назван именем римской богини Дианы. Поскольку напротив него находилось женское отделение Николаевских ванн, то вскоре возникла легенда, согласно которой богиня, искупавшись, предпочитала отдыхать в прохладе пещеры. Часто бывал здесь и Михаил Юрьевич Лермонтов...

* * *

Так уж повелось в Пятигорске, что распорядителем на всех праздниках обыкновенно бывал князь Владимир Сергеевич Голицын. Однако когда стало известно, что молодежь задумала дать бал, а точнее, устроить пикник, князь ни с того ни с сего заупрямился. Дескать, неприлично танцевать с кем ни попадя на открытом воздухе, а после угощать женщин хорошего общества трактирными ужинами.

Разговор происходил в казенном особняке, который занимал Голицын на правах командующего кавалерией левого фланга Кавказской линии. Сюда явилась делегация молодых офицеров, и князь вышел к ним в домашнем халате, турецкого фасона тапочках, с опухшим лицом и растрепанными волосами.

Мишель вместе с другими недоумевал, какая причина могла вызвать столь разительную перемену в этом добросердечном человеке. То ли не выспался, то ли заболел, то ли просто не в духе... Наконец Мишель не выдержал:

— Господин полковник, здесь не Петербург, чтобы соблюдать все правила этикета. То, что дурно в столице, совершенно на своем месте на водах.

Голицын чуть помедлил с ответом и предложил компромиссное решение:

— Вот что... Устроим не пикник, устроим настоящий бал, и так, как вы хотите — на улице. Единственно, не на бульваре, а в Ботаническом саду.

После этих слов среди офицеров раздался одобрителный гул. Тем не менее Мишель заметил, что сад далеко за городом, куда добраться тяжело и еще тяжелее вывозить оттуда дам, уставших после танцев, вдобавок поздней ночью.

— Своих экипажей почти ни у кого нет, а дрожek в городе раз, два и обчелся, — закончил он. — Не на повозках же тащиться?

Голицын возразил с резкостью:

— Так здешних дикарей учить надо!

Когда, хмурые, вышли из особняка, Мишель обвел всех задорным взглядом:

— Господа! На что нам непременно главенство князя на пикнике? Если не хочет быть у нас, то и не надо. Мы и без него справимся.

И хотя такая мысль в голову никому не приходила, тут все поддержали Мишеля и хором начали обсуждать, каким должно быть грядущее увеселение.

На следующий день составили подписку среди знакомых. К всеобщему удивлению, затея приняла громадные размеры, и уже вскоре искомая сумма была собрана.

О месте, где пройдет праздник, долго не спорили. Конечно, грот Дианы! Здесь уже не единожды гуляли, и всем нравилось. На сей раз грот убрали узорчатыми шалами, соединили их в центре в красивый узел, прикрыв, дабы придать пространству больший объем, круглым зеркалом. С внешней стороны на стены грота повесили персидские ковры, люстры из простых обручей и веревок, однако же искусно обвитых великолепными живыми цветами и зеленью. На огромных дубах вблизи площадки, где собирались танцевать, развесили сотни радужных фонарей, так что весь Цветник оказался освещенным. Музыка для бала разместили в аллее, тогда как прямо над гротом выстроился военный оркестр, который должен был вступать в антрактах между танцами.

Как будто в согласии с общим желанием повеселиться, в вечернем небе, чистого темно-синего цвета, горели ярчайшие звезды, какими они даже на юге редко бывают. К тому же установилась необычайно тихая погода: ни один листок не шевелился на деревьях, ни в одном из фонарей не колебался свет.

Когда к восьми часам все приглашенные собрались, без промедления зазвучала музыка, и танцы начали быстро сменять друг друга. Те, кто не имел билетов, густыми рядами окружили импровизированную танцевальную залу. И вот уже завелись между ними разговоры и обсуждения, кто эта в широчайшей белой шляпке, кто тот с усами и бакенбардами, у кого лучше танец, а кому следовало бы оставаться дома.

— Гляди, Лермонтов, — сообщила особа средних лет, но по виду совершеннейшая «мамаша».

— Так и что? — не поняла ее ровесница, правда, более худая и подвижная. «Мамаша» отрекомендовала танцора по всем правилам здешнего этикета:

— Гвардеец. Из Петербурга. Сочинитель.

— Фигуры делает старательно, но так себе, — проводила Мишеля взглядом та, что потоньше.

— У моей знакомой кухарка еще и офицерам готовит. И про этого Лермонтова много рассказывает, — «мамаша» склонилась к товарке. — У него когда настроение шаловливое, так просто удержу нет: затевает танцы на целый вечер, или увлекает всех на двор, или начинает разные игры.

— Приличные хоть?

— Да кто разберет... Одна из них «серсо» называется — слыхала, может?.. А так если не конная прогулка, то карты, если не карты, то вино. Но больше всего любят плясы. Они у них без конца: в домах, на улицах, вот как сегодня, или в ресторации у Найтаки, или в других сомнительных местечках. И Лермонтов там всегда душа общества, всех развлекает и всем дирижирует.

В этот момент он собственной персоной вместе с персоной другой, одетой в нежно-розовое платье, пронесся в бешеном туре вальса. С последним тактом Мишель поклонился своей спутнице и проследовал к одиноко стоявшему Монго. Запыхавшийся от нескольких танцев подряд, он спросил:

- Что ж ты как рыцарь печального образа? Совсем тебя не узнать!
- Ты раньше тоже не жаловал балы, а теперь скачешь, как заводной.
- Я же не воробей, чтобы все время одно и то же чирикать... Нет, ты только посмотри, какая грация!.. Глаза серые, карие, голубые! А лица, а ножки, а талии!
- Мишель, откуда такой восторг? Все это когда-то да было... А если что-то кажется свежим... Просто обман зрения!
- Не ожидал, что у тебя новая философская школа... Но знаешь, тебе это не идет.
- Тогда что, по-твоему, мне нужно?
- Поверь, немного... Возьми пример с Глебова. Его дела с прекрасной смуглянкой стремительно продвинулись. А почему, как думаешь?.. Он смотрит на вещи молодым здоровым взглядом и даже в плохом старается видеть хорошее. Ты же, прости, впадаешь в меланхолию.
- Такова примета времени, — приняв скучающую позу, проговорил Монго.
- Ты дашь фору самому лорду Байрону! — рассмеялся Мишель и после паузы продолжил серьезно: — Тебе известно, как я чту великого британца, но под его влиянием вовсе не утрачиваю индивидуальность, напротив, ее приобретаю. Что же касается романтического скепсиса его сочинений, то это всего только литературная стилистика, чему доказательство — героическая биография лорда. Да и с чего ты вообще взял, что пресыщенность жизнью нынче в моде?
- Разве не так, Мишель?
- У тебя есть возможность убедиться в обратном. Надеюсь, ты разглядел девушку в нежно-розовом, с которой я сейчас танцевал, и мне нет нужды ее представлять?.. Так вот, младшая грация очень хочет тебя видеть прямо сейчас.
- Надежда тебе сама об этом сказала? — рыбы глаза Монго вдруг превратились в мерцающие огоньки.
- Сама, — лаконично заверил Мишель.
- А как... — Монго подыскивал слова, желая отблагодарить товарища за его участие и одновременно самому проявить интерес к его делам. — Как у тебя с Эмилией?
- Не у меня с Эмилией, а у нее с Мартышкой. Видишь ли, она предпочитает холодное оружие — небольшой кинжальчик красуется теперь даже у нее на кушачке.
- И тебе... — он снова замялся, — тебе все равно?
- Я холоден, как Чайльд Гарольд, — Мишель сделал актерски надменное лицо. — Иди, однако, грация заждалась... А я продолжу искать княжну...
- Опять?! Ей-богу, кто она?
- Когда бы я сам знал, Монго... — он уже удалялся и, поравнявшись с висевшим на ветке радужным фонариком, подпрыгнул и слегка по нему стукнул, отчего тот закачался, переливаясь всеми своими цветами.

ГЛАВА XI. ПРОСТИ! УВИДИМСЯ ЛЬ МЫ СНОВА?

Если я оказывался вблизи Цветника, то, как правило, заходил в кофейню Гукасова. Заведение построил сто с лишним лет назад предприимчивый армянский купец, коих в Пятигорске и теперь в каждой лавке через одного. Меня влекло туда не столько качество кофе — он был не лучше и не хуже, чем в других местах, — сколько царившая там атмосфера.

Обыкновенно, если не накрапывал дождь, я садился на открытой террасе второго этажа. Отсюда во все стороны открывалось пространство пятигорской старины с ее аллеями, зданиями ванн, лестницами, сложенными из тесаных плит. А рядом вилась

по краю террасы ажурная ограда из кованого чугуна, и опоясывали весь этаж изящные, наподобие свечек, тоненькие колонки.

Вместе с кофе я брал что-нибудь сладкое — эклер или медовик, торт или вафли; мне казалось, что раз уж вокруг меня сплошь приметы Серебряного века, то нужно соответствовать его вычурным излишествам. Пусть иллюзия былой эпохи длилась недолго и ее прерывали то крики с улицы, то гудки автомобилей, я не мог отказать себе в удовольствии купить эти прекрасные минуты по цене капучино с пирожным. Такая возможность появлялась, правда, лишь в том случае, если он хранил молчание — тот самый, который любил поговорить.

— Хочу прокатиться, — он показал в сторону дрожек, какие обычно используют для развлечения туристов.

— Знаешь, сколько стоит такая забава?

— А кофе каждый день пить, а торты жрать?

Я согласился, зная, что проще потратить впустую время и деньги, чем с ним спорить. Расплатившись, мы встали из-за стола, и тут я как бы со стороны услышал свой сдавленный голос:

— Иди к своим дрожкам.

— Как, один?

— Один, — подтвердил я. — Мне сейчас надо отлучиться, а после встретимся здесь же, — с этими словами я бросился вниз по витой металлической лестнице.

Мне действительно необходимо было спешить. Пока я выбирался из кофейного заведения и потом почти бежал мимо сияющих витринами магазинов для отдыхающей публики, Таня успела уже довольно далеко уйти по одной из улиц, которые без всякой надежды пытались штурмовать Машук. Название улицы — Карла Маркса — настолько не соответствовало здешнему аристократическому кварталу, что хотелось в принудительном порядке дать ей имя Лермонтова, тем более что замыкалась улица музеем поэта.

Когда Таня скрылась за воротами бывшей усадьбы генерала Верзилина, я внутренне усмехнулся. Трижды за несколько дней посетить один музей — это, скажу я вам, чересчур. Зайдя под навес, где собирались туристы, хотя ни малейшего признака дождя не было, я мгновенно ее разглядел. Она сидела в тех же джинсах и вроде бы в том же пиджаке, в каких я видел ее в прежние дни. Придумать причину, почему у меня не получилось встретить ее после поездки в Кисловодск, не составляло большого труда.

Вскоре нас позвали на экскурсию, куда мы отправились, продолжая оживленный разговор.

Экспозиция рассказывала о пребывании Лермонтова на Кавказе, точнее, о пребываниях, ибо впервые ввиду слабого здоровья его привезли сюда еще десятилетним ребенком. Впоследствии были две ссылки в действующую армию, которая умирала воинственных горцев.

Мы переходили из зала в зал. То поднимали головы, чтобы охватить разом картины, рисунки, акварели, в том числе подлинные работы Лермонтова, то нагибались, стараясь рассмотреть листы рукописей поэта, стихи и прозу, отрывки из его писем. И при этом мы с Таней чему-то улыбались, что-то комментировали, обменивались короткими репликами. Скорее всего, мешали очкастому пухлощекому экскурсоводу, похожему на Пьера Безухова в исполнении Бондарчука.

И вдруг посреди всей этой круговерти залов, гравюр, прижизненных изданий книг, речей Пьера Безухова, наших колких фраз и неумеренных восторгов — вдруг, говорю, мне пришло на ум: почему я здесь? с какой целью слушаю и произношу разные

слова, за которые потом станет стыдно? и зачем любезничаю с этой приятной, милой, но в сущности... Неужели я влюблен?.. Меня так глупо создали, что этого вполне можно ожидать...

Между тем группа вошла в гостиную дома Верзилиных. Комната оказалась большой и светлой благодаря четырем окнам с широкими простенками; два окна выходили на улицу, два других — во двор. Были тут пружинный трехместный диванчик со спинкой, обитый ситцем, над диванчиком — овальное зеркало, а слева — орехового цвета рояль. Остальную обстановку составляли мягкие полукресла и раскладной стол, половинки которого были придвинуты к стенам.

— Именно здесь вечером 13 июля 1841 года собралось общество: знакомые хозяев, приезжие и местные, главным образом молодежь. Пришли, по некоторым источникам, человек пятнадцать.

Пьер Безухов говорил, и перемещался по залу, и делал широкие взмахи руками, и округлял глаза, и едва не пускался впрямую, чтобы показать, каким блестящим выдался вечер.

— Гости Верзилиных, — продолжал он, — рассказывают о том, что произошло позже, по-разному, иногда расходятся в деталях, но все едины в одном: ссора вышла из-за Эмилии Клингенберг. Она сидела рядом с Михаилом Юрьевичем, — он показал на диванчик, — и поэт, по своему обыкновению, смеялся и много острил, в том числе над майором Мартыновым. Тот всегда носил черкеску и замечательной величины кинжал, отчего Лермонтов в шутку так его и называл. И надо же было случиться, что когда один из гостей закончил играть на рояле, — Пьер снова сопроводил свою речь жестом, — в тишине прозвучало «горец с большим кинжалом». Фраза предназначалась лишь Эмилии, однако услышали все гости и, конечно же, сам Мартынов...

— Предлагаю, — шепнул я Тане, — погулять по территории музея, ведь это целый комплекс соединенных вместе усадеб...

— Сейчас самое интересное начинается, — она в упор посмотрела на меня одновременно удивленными и просящими глазами и вновь устремила их на говорливого экскурсовода.

— Подожду на улице, — отделяя одно слово от другого, произнес я и на цыпочках вышел из гостиной.

Возле парадной двери дома Верзилиных стояла металлическая труба пепельницы. Тут же курил мужичок, по виду местный сторож. Ни на секунду не задумываясь, хотя до этого обходился без табака месяца три, я стрельнул сигарету. Третьесортная дымная гадость с запахом сырых опилок тем не менее помогла мне собрать мысли воедино. И первым вернулось недавнее: неужели я влюблен?.. Нет, сказал я себе, ничего подобного. Скорее, симпатия, забава, переключение скоростей... А может, размышлял я дальше, она выглядит в моих глазах непобедимой красавицей, и меня увлекает трудность предприятия... Но тоже ничуть не бывало! Тогда, собственно, ради чего я покидаю кофейню Гукасова, точно там пожар, и мчусь в музей, где меня уже знают в лицо едва ли не все кассиры, контролеры и зрители?.. На самом деле ответ прост — для насыщения гордости. Это чувство, я знаю, не может даже короткое время быть при мне без того, чтоб я не находил ему приложения к действительности. У нее, действительности, могут быть разные имена, правда, исключительно женские. Сегодня ее зовут Татьяна...

Она вышла с таким грустным лицом, словно до сих пор думала, что Лермонтов прожил сто лет и умер дома в постели, а не был убит оскорбленным при дамах майором Мартыновым из дуэльного пистолета на склоне Машука. Я попытался успокоить ее тем, что подобным образом уходят из жизни почти все великие.

— Ты проводишь меня? — голос ее по-прежнему был печален.

— Да, конечно...

Я ответил инстинктивно, продолжая держать в голове прежние мысли. Поскольку держались они крепко, мы шли по улице Карла Маркса в полнейшем молчании, которое не нарушали ни машины, ни прохожие, по-моему, даже птицы не пели. Ее, видимо, это тяготило, а мне, признаюсь честно, было все равно.

— Ты здесь один, без жены? — она покосилась на меня испытующим взглядом.

Помнится, когда этот вопрос прозвучал впервые, я не успел ответить. Теперь же и желания отвечать не было. Словно уловив мое настроение, она поспешно сказала: «Уже недалеко, дойду сама», — интонацией и лицом подразумевая, что мне должно проявить себя истым кавалером. Я только пожал плечами, посчитав лишним ссылаться на то, будто меня ждет товарищ.

А товарищ и вправду ждал: он вылезал из экипажа, расплачивался с возницей, когда, заметив меня, поспешил навстречу.

— Не один, а два раза прокатился, — то ли похвастался он, то ли пошутил (его юмор зачастую бывает своеобразен).

— Так понравились дрожки?

— Ужас какой-то! — почему-то радостно воскликнул он и как-то без перехода заинтересовался: — У тебя от княжны такое же впечатление?

— Что еще за княжна? — изумился я до крайности.

— Выражаюсь иносказательно, — он хохотнул. — Ты же сам рассказывал, будто у Лермонтова был образ княжны, ну такой... идеальной женщины. А после он осознал, что это одна беспокойная потребность юности и что даже если идеал найти, он непременно окажется таким, какой нас терпеть не может.

Меня поразили и эти слова, и сложность мысли, учитывая его неизменную страсть к упрощениям, и то, насколько точно он запомнил сказанное мною далеко не вчера. Вот только, подумалось мне, его следует отчитать (а может, просто дать в ухо?) за одну попытку хоть в чем-то сравнивать меня с почетным гражданином Пятигорска. И хотя «почетный гражданин» проник в мои мысли ненароком, определение понравилось, ведь де-факто поэт таковым и был, по крайней мере, никого почетнее, чем он, за всю историю города не сыщешь...

Все это в долю секунды пронеслось в голове, между тем как вслух я сказал, возвращаясь к прежней теме:

— Что такого ужасного в дрожках?

— Прямо кишки выворачивает, — он показал, как именно. — Особенно на бульжнике.

— И сколько стоит развлекуха?

— Цены курортные, заоблачные... Кстати, нет ли желания проехаться?

* * *

У запряженной в дрожки лошади какой-то неверный шаг, отчего седоков то и дело бросает в стороны. Вдобавок дорога плохая, с ямами да камнями. Разговору, однако, это отнюдь не мешает.

— Я задумал большой роман из здешней жизни. Будет там и Тифлис при Ермолове, и его диктатура с кровавым усмирением Кавказа, и персидская война, и катастрофа, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране.

— Экий у тебя размах, Лермонтов!

— Подумаешь! Второй роман — еще более монументальная картина! Представь, смертельный бой двух великих наций с завязкою в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем и, наконец, развязкой в Вене.

Они едут из Железноводска, где Мишель провел несколько дней. Конечная цель пути — Перкальская скала, наиболее глухое место на западном склоне Машука. Там назначен поединок между поручиком Лермонтовым и майором Мартыновым. Несмотря на это, всю дорогу Мишель пребывает в хорошем расположении духа. Как секундант, Глебов не слышит от него ни последних имущественных распоряжений, ни покаянных слов, ни моральных заветов. Наоборот, дуэлянт весел, много шутит и по внешнему впечатлению едет словно бы на званый пир. Единственно, сожалеет о том, что не смог получить отставку от воинской службы, чтобы совершенно предаться литературным трудам.

— Но ничего, дадут когда-нибудь мне вольную... Знаешь, Глебов, я мечтаю об основании журнала!.. Мое твердое убеждение, что нам незачем тянуться за немецким и французским, а надобно иметь самобытное.

— И чем же мы можем отличиться?

— Так о том журнал и будет!.. Я много размышлял, раз уж волею судеб мы оказались на Кавказе, об устройстве и философии азиатского мира. Его жители малопонятны нам, а Европе и того меньше. Но поверь мне, на Востоке зарыт тайник с редкими богатствами! Показать их у нас, показать везде, да в придачу с исконно русским — это ли не назначение современного журнала?..

Вдали пылит что-то неясное, и корнет направляет дрожки ближе к обочине, иначе на узкой дороге не разминуться. Вот встречный экипаж уже близко: это бричка с открытым верхом, без рессор, отчего она то и дело подпрыгивает и дребезжит. От ее шума и пыли из-под колес Мишель отворачивается и прищуривает глаза, как вдруг слышит чей-то знакомый голос:

— Михал Юрьич, какая судьба вас тут встретить!

Остановив кучера, через борт брички перегибается Юрий Павлович. На нем все тот же истертый старомодный сюртук, обтягивающий живот, а на голове, невзирая на дневной зной, шляпа с низкой тульей и широкими краями, которую, чтоб от тряски не слетела, он придерживает одной рукой, в то время как другой с воодушевлением машет поручику.

— Куда путь держите? — кричит он, точно по-прежнему все кругом дрожит и несется.

— Так, прогулка...

— А я в Железноводск, там второй курс лечения, после чего заканчиваю нарзанами в Кисловодске, — он понижает голос и встает во весь рост, словно бы прислушиваясь к тишине.

— Обычная схема, — без интонации замечает Глебов, а Юрий Павлович, вне всякой связи с предыдущим, обращается к Мишелю:

— Намедни видел вас издали, вы хромали... В порядке ли ваше здоровье?

Недолго думая, Мишель отвечает с комично серьезным выражением лица:

— Сделанный в Ставрополе деревянный протез настолько хорош, что почти скрывает мое увечье.

Собеседник юмора не слышит и в смятении глядит сначала на ноги поручика, а затем почему-то на ноги лошади. В этот момент Глебов, присвистнув, натягивает вожжи и вопит дурным голосом, подобно настоящему лихачу:

— Но, пошла, пошла!

Гнедая кобыла срывается с места, вытягивая дрожки на середину дороги. Обернувшись, Мишель кричит пятигорскому приятелю:

— Я пошутил! Здоровье отличное, проживу сто лет!

Сквозь пыльное облако, теперь уже от собственного экипажа, Юрий Павлович виден плохо, тем не менее его непокрытая голова и шляпа в поднятой руке еще какое-то время маячат в отдалении...

Они уже недалеко от Пятигорска. С утра жаркая безветренная погода меняется: наплывают из-за гор тучи, дует с той стороны прохладой — сперва еле заметно, но с каждой минутой все сильнее, и наконец, при том, что солнце продолжает печь неистово, начинают сверху сыпаться редкие тяжелые капли. А спустя всего-то четверть часа на небе, которое сделалось чернильного цвета, уже сверкают ослепительные молнии, горохом рассыпается по долинам гром, порывы ветра гнут и ломают ветви.

Корнету все сложнее управляться с вожжами одной правой рукой, поскольку левая на перевязи.

— Глебов, дай я возьму.

— Отдыхай! Твердая рука — первое, что для выстрела нужно.

— Не будь так серьезен, Глебов. Все это не более чем анекдот, игра, нервы разве что пощекотать...

— Дуэль, ты считаешь, шутка?

— Смотря по тому, с чем сравнивать... Вот тебе пример: сижу я у себя, пишу — ты иногда видишь, но не знаешь, что именно — и какая часть главенствует, по-твоему?

— Не пойму тебя, поручик...

— Ну, в чем важности больше — в дуэли или в письме?.. Признаться, я и сам толком не знаю. А между тем, Глебов, уверен в одном: письмо-то как раз на эти вопросы и отвечает...

Его мысль переносится назад — на окраину Пятигорска, в мазанку под камышовой крышей. Он сидит за столом и пишет уже несколько часов подряд, он измучился, у него перед глазами круги, копирующие игру светотени в черешневом саду, у него болит со стороны виска, у него болят даже пальцы из-за того, что он по привычке слишком крепко сжимает перо. Но так всегда: чем дольше пишешь, чем сильнее устает, тем получается лучше. Исчезают с глаз шоры, облетает шелуха повседневности, и обнажается сама суть...

Пробегая в памяти все прошедшее, он невольно спрашивает себя: зачем жил? для какой цели родился?.. А ведь, верно, она, цель, существовала, и, верно, было ему высокое назначение, потому что от рождения чувствовал он в душе силы необъятные. Однако он не угадал этого назначения, увлекшись приманками пустых страстей; от их влияния он стал тверд и холоден, как железо, но утратил навсегда пыл благородных стремлений — этот лучший цвет природы и человека!

Из жизненной бури он вынес только несколько идей. И ни одного чувства. Теперь он уже давно не прислушивается к сердцу, а рассчитывает только на рассудок. Взвешивает, разбирает собственные страсти и поступки со строгим любопытством, но без участия. В нем постоянно два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый, быть может, умрет в старости от инфлюэнцы или погибнет молодым на дуэли, а второй... С ним сложнее. Он существует лишь тогда, когда есть первый, в противном случае у него не останется работы. С другой стороны, если станет исправно выполнять свою миссию — наблюдать, записывать, делать наброски, угадывать грядущее сквозь туманные дали десятилетий, — он будет вечен и добьется вечности для того, кто о ней даже не задумывался.

ГЛАВА XII. СКВОЗЬ ТУМАН КРЕМНИСТЫЙ ПУТЬ БЛЕСТИТ

Всю ночь шел дождь. Его шум звучал в номере отеля «Лацио» так ровно и с такой скукою, что думалось, будто этому не наступит конца. К утру, однако, лить перестало. Установилась та сырая и теплая погода, когда, наверное, проще чувствовать себя рыбой. За окнами, что не находило у меня разумного объяснения, контуры рядом стоявших домов казались размытыми, тогда как далекий горный хребет и более близкий Машук были видны отчетливо.

- Раз видны, — на ходу придумал я, — то и пойдем, как договаривались.
- Насчет Машука это примета такая? — с издевкой поинтересовался он.
- Здесь всегда так ориентируются, — согласился я с его абсурдной версией.
- Кто? — уточнил он.
- Туристы.

Стоило только выйти на улицу, как он снова превратился в нытика:

- Мы что, пешком?
- Можно подъехать две остановки. Но тут совсем близко, дольше трамвая ждать будем.

Прошло минут двадцать, прежде чем до него дошло, что ноги надежнее колес. Мы двигались по центральной улице нашего спального района, которая все время плавно поднималась. Когда миновали подобные пропилям каменные пилоны с изображениями раскрытой книги и арфы, дорога пошла гораздо круче и постепенно втянулась в сосновый бор. И сразу, как часто бывает в горах, с погодой случилась метаморфоза: на вершину Машука нахлобучилась туча и, медленно сползая вниз, достигла подножия горы. Внезапно мы оказались среди плотного тумана, так что видели не дальше десяти шагов, да и друг друга различали с трудом. Нам еще повезло, что мелкий и противный дождь начался незадолго до того, как мы подошли к летнему кафе, откуда, укрывшись под огромным козырьком и заказав чай с бутербродами, мы озирались по сторонам с тем чувством, которое возникает, когда стихия, казалось бы, рядом, а ты наблюдаешь за ней из надежного укрытия.

Несмотря на то, что потоки с небес располагали скорее к медитации, чем к разговорам, мне оказалось не по силам противостоять напору того высокого и трагического духа, каким веяло на нас сквозь туман.

— Нынешний памятник, — я жестом повторил его намеченный в воздухе силуэт, — третий на этом месте. Его поставили к столетию со дня рождения Лермонтова, но из-за Первой мировой открыли только на следующий год. Интересно, что автор монумента скульптор Микешин на открытие не явился, поскольку был против ограды, созданной без его участия.

Анатолий, который шумно попивал горячий чай и всячески делал вид, что в моих комментариях не нуждается, неожиданно высказал чисто практическое соображение:

- Камень-то, похоже, местный...
- Да, это светлый кисловодский доломит, имеющий...

Меня перебил хозяин кафе, хрестоматийного вида кавказец с усами наподобие обувной щетки:

- Слушай, здесь всегда толпа народу. Один автобус уехал, другой приехал. К месту дуэли идут, сюда, в кафе, идут.

Его наблюдения, может, и были по-своему интересны, однако не имели никакого отношения к нашему с Анатолием разговору. Тем не менее исключительно из вежливости я спросил:

— Что же сегодня никого?

— Смешной ты человек! Не видишь, что ли? — его рука описала полукруг. — Кто в такой день поедет?

Он еще много говорил — о торговле, туристах, о том, как ему нравятся стихи Лермонтова, — пока я его не прервал, показав на небо, хоть и хмурое, но уже без дождя. К жесту пришлось добавить (нет, не крепкое выражение!) краткое пояснение относительно того, что для путешественников в первую очередь важны новые впечатления.

Когда мы выбрались из-под козырька, Анатолий не упустил возможности проворчать:

— Оттуда было прекрасно видно...

Я промолчал и вернулся к разговору уже возле светло-серого обелиска с бронзовым медальоном в нижней части, на котором был выбит барельефный портрет поэта.

— Сидя в кафе, как бы ты смог разглядеть этот барельеф и этих каменных грифонов на углах ограды? А эти столбики в виде пуль... Знаешь, что они обозначают?

Поскольку ответа я не дождался, пришлось продолжить так, точно к моим словам был проявлен редкий по нынешним временам интерес:

— Мучительная смерть поэта от огнестрельной раны — вот к чему обращена символика мемориала.

Он едко заметил:

— Ты неправильно выбрал профессию, тебе следовало стать экскурсоводом.

— Может, ты и прав. Тем более что нам предстоит еще один туристический марш-бросок.

— Это куда же? — прямо взвился он. — Мы шли на место поединка, не так ли? Вот оно! — свои слова он подкрепил гневно-указующим жестом.

— Так, да не так, — произнес я для самого себя неожиданную фразу. — По дороге объясню. Не бойся, тут недалеко, — я слегка подтолкнул его в нужном направлении.

Медленно, будто лишь по частям можно было показывать себя миру, выполз на парковку автобус. Как раз из тех, подумал я, о каких рассказывал усатый хозяин кафе. Передняя дверь отворилась, и оттуда стали высыпаться крохотные фигурки первоклашек. Они направились к памятнику, похожие в расстилавшейся вокруг пелене на птенцов, которые идут следом за наседкой, то есть за учительницей.

Наш путь лежал вдоль подошвы Машука, огибая гору, если смотреть от Провала, с противоположного конца. Собственно, было две дороги: одна, для машин, немного ниже, и другая, скорее тропа, по которой мы и двигались. Кругом в густом подлеске стояли печального вида деревья с мокрыми стволами и плачущей листвой.

Иногда хмарь редела, разрываясь на летучие клочья, а порой, наоборот, сгушалась до такой степени, что хотелось потрогать, не твердая ли она. Отчего это зависело, не имею понятия, ведь не было ни малейшего ветерка. Правда, опять пошел дождь. Чтобы от него укрыться, мы вышли на нижнюю асфальтированную дорогу, по сторонам которой росли мощные дубы, чьи кроны смыкались надежной крышей.

Так мы осилили еще с километр, когда спереди стал приближаться характерный шум автомобильного двигателя. Голубого цвета «ниссан» еле полз, так что казалось, будто он срывает одну белесую завесу за другой и постепенно в них запутывается. Проводив глазами эту черепаху, мы направились дальше, и он спросил, показывая на бескрайнюю муть, которая заполнила лежавшую впереди низину:

— А все-таки куда мы идем?

— Понимаешь... — я подбирал слова, как подбирают рассыпавшуюся в сумраке мелочь, не различая, какая монета мельче, какая крупнее, — понимаешь, когда в девятнадцатом веке комиссия определяла место дуэли, то почему-то взяли в расчет показания лишь двух пятигорских старожилов, хотя весь город знал, что дрались не там, где мы побывали, а вблизи Перкальской скалы. В последние годы эта версия получила подтверждение в десятках научных работ, так что теперь мемориал стал не более чем символом, не имея отношения ни к местности, ни к исторической правде.

— Где же эта, как ты назвал... Перкальская скала?

— Уже близко, — я хотел показать на навигаторе, где находится конечная точка маршрута, но телефон был вне зоны приема, поэтому пришлось продолжить на словах: — По существу, это не скала, а отрог Машука. Там раньше пролегла дорога, по которой ездили поправлявшие здоровье из Пятигорска в Железноводск и обратно.

— Ничего не вижу, — он заинтересованно всматривался в то, что можно было назвать огромным куском ваты. В этот момент на экране мобильного наконец-то появилась картинка местности, и я увеличил ее масштаб.

— Судя по всему, чуть ниже и правее метров на триста... Стой здесь, только никуда не двигайся. А я на разведку.

Пробиваться через заросли боярышника, бузины и бересклета, зачастую на ощупь, было малоприятным занятием. Несколько раз я падал на сыром склоне, однажды сильно ударившись коленом о корягу. В конце концов удалось выбраться на небольшую возвышенность, откуда, если бы не поглотившая окрестности дымка, наверняка открылся бы просторный вид. Непонятно, в какой стороне шумел невидимый источник. Поблизости, завиваясь ветками в какую-то немислимую круговерть, кустарники расходились в стороны, образуя поросшую высокой травой поляну. Где-то тут, промелькнуло у меня, должны были остаться следы от старой дороги...

— Я думаю, господа, на поляну идти нет смысла.

— Полностью разделяю ваше мнение. Не хотят же соперники шагать по мокрой траве и лужам? А здесь, на дороге, не слишком размокло, да и камни почти высохли.

— Единственно попрошу поспешить, в противном случае мы рискуем снова попасть под дождь, и одному Богу известно, когда он закончится...

— К тому же зачем подвергать себя опасности быть застигнутыми случайным проезжим?

— Итак, не пора ли приступать? Господа, вы готовы?..

Я слышу их голоса, вижу, где стоят секунданты, как топчутся на месте привязанные к деревьям лошади, в каких позах застыли противники. Картина настолько явственная, что мне делается не по себе. Особенно когда вдали, освещая на миг вязкое марево, начинает вспыхивать небо и следом доносятся глухие раскаты. Так было и в тот день: молнии сменялись громом, проблески солнца — ливнем, дождь — зябкой сыростью...

Назад, пусть и вверх, двигаться легче — по знакомому пути с примятой травой и погнутыми ветками. Местами, где возможно, я перехожу на бег, все время боясь услышать, как сзади раздастся выстрел. Иногда я даже затыкаю уши, но долго бежать в таком положении невозможно. Мне почему-то кажется, что чем быстрее я поднимаюсь, тем меньше шансов состояться поединку.

Дорога, на которой мы расстались, появляется неожиданно, хотя до этого я пару раз обманывался, принимая за желаемое то выстроившиеся в линию ясени и грабы, то тропинку, отполированную бурными потоками до состояния, похожего на асфальт. Туман заметно спал, но как ни кручу головой в разные стороны, моего двойника ни-

где не вижу. В его поисках прохожу метров пятьсот в один конец, возвращаюсь и потом отмериваю столько же в обратном направлении. Я зову его на весь лес, замираю и слушаю, нет ли ответа, и снова кричу. В окружающей тишине мой голос гудит в верхушках деревьев, и откуда-то издали глумится надо мной презрительное эхо.

В тумане я не обращаю внимания, а из-за собственного крика не слышу, как сзади подкрадывается автомобиль. Вероятно, водитель замечает меня тоже в последний момент. Я успеваю сделать всего полшага к обочине, перед тем как в сантиметрах от моего лица пронесется сначала серебристая машина, а после белый бок прицеполенного к ней туристического трейлера.

Когда стихает мимолетный ветер и опять становится тихо, я сажусь на замшелый пенек возле дороги. Странно, но я совсем не переживаю по поводу того, что едва не случилось. Меня по-прежнему волнует одно — куда он мог пропасть? — и лезет в голову самое страшное... Ничто, к примеру, не мешало в мое отсутствие появиться таким же туристам с трейлером или, что еще хуже, автобусу, который перевозит детей... Поди заметь в этом сгущенном молоке...

Комком сжимает горло, так что я не в состоянии освободиться от кашля, который тем не менее лезет и лезет наружу и клокочет пузырями внутри. Я харкаю кровью на землю, еще раз и еще. Но лучше не становится. Найти молитвенное утешение я не успел, забыв, хоть клятвенно и обещал, сходить в храм. Облегчение могли бы принести слезы, но мне не дано это счастье — плакать. И все же в уголках глаз выступает влага. Мы ведь с ним были от рождения вместе, пусть и составляли две противоположные половинки. Если же теперь его нет, так, стало быть, нет и меня. А то, что я продолжаю рассуждать, еще ничего не значит. Вполне вероятно, мысли и чувства отмирают постепенно...

Я опять их вижу, только теперь они чернеют силуэтами вдаль. А между тем, невзирая на расстояние, мне понятен каждый из них: князь Васильчиков, корнет Глебов, отставной майор Мартынов и поручик Тенгинского пехотного полка Лермонтов. Они завершают последние приготовления к тому, что представляется обычным делом, после которого недурно будет распить шампанского в честь примирения Мартышки и Мишеля. Им так кажется...

А вдруг эта картина мне только привиделась и на самом деле ничего, кроме горы и тумана, здесь нет?.. Эй, люди, ответьте!..

И хотя единственный, кто постоянно рядом, покинул меня, тогда как других тут попросту быть не может, я говорю в полный голос — без тени сомнения в том, что всегда есть выбор между сырой землей и небесами, просто необходимо поставить опыт. Чтобы принять в нем участие, выстраиваются из века в век огромные очереди, и я обращаюсь к этим отчаянным, которые готовы ради бессмертия пожертвовать жизнью:

— Посмотрите, видите ли вы там, на скале, мужские фигуры, которые явно готовятся к дуэли?.. Послушайте, не ощущается ли запах пороха и конской сбруи?.. Простите, мне показалось или на самом деле только что прогремел выстрел?..